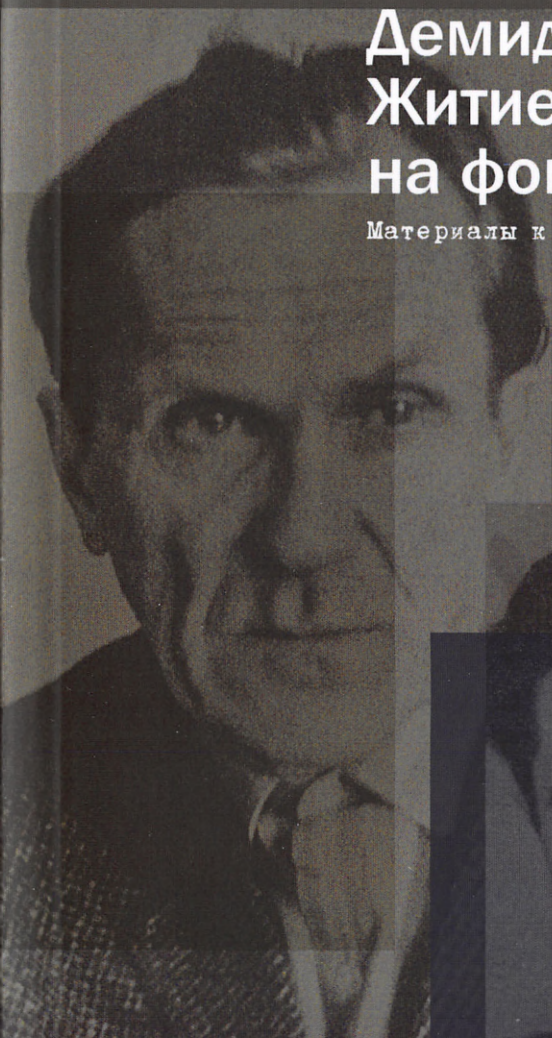


Демидов и Шаламов. Житие Георгия на фоне Варлама

Материалы к одноименной конференции



ВОЗВРАЩЕНИЕ



Демидов и Шаламов. Житие Георгия на фоне Варлама

Материалы к одноименной конференции

Москва

4–6 марта 2016 г.

Большой зал Дома русского
зарубежья
им. Александра Солженицына,
Государственный музей ГУЛАГа

Москва
«Возвращение»
2016

УДК [821.161.1.09Демидов Г. Г.+821.161.1.09Шаламов В. Т.](063)
ББК 84(2=411.2)6-8Демидов Г. Г.я431+84(2=411.2)6-8Шаламов В. Т.я431
Д30

Д30 Демидов и Шаламов. Житие Георгия на фоне Варлама: материалы к одноименной конф., Москва, 4-6 марта, 2016 г., Большой зал Дома русского зарубежья им. Александра Солженицина, Гос. музей ГУЛАГа / [ред.-сост. С. С. Виленский]. – М. : Возвращение, 2016. – 88 с. – ISBN 978-5-7157-0310-1.

© «Возвращение», 2016

© А.Р. Сайфулина, оформление, 2016

ISBN 978-6-71-57-0310-1

Елена Якович

Демидов и Шаламов. Житие Георгия на фоне Варлама

Ни одна его строка пока не увидела свет, а Литературный музей готов приобрести его архив... Он создал свою серию «колымских рассказов», но этим не исчерпывается круг его писательских интересов. Кто же он, Демидов?

Московская квартира старинных друзей Демидова, в которой мы беседуем с его дочерью, харьковчанкой Валентиной Георгиевной, окнами выходит во двор, но все равно в ней живет присутствие Садового кольца, столичной суеты и непогоды. Как всегда неожиданно, неспешными хлопьями опускается на землю снег, и постепенно сквозь пелену времени проступают две глыбы, два человечика. Одного из них я узнаю, имя ему – Варлам, контур второго прорисовывается все резче и становится вровень с первым.

... В спецотряде по отстрелу морских животных он провалился в ледовое крошево между лодками. Мороз был сумасшедший. Его вытащили и с температурой за сорок, без сознания оставили в неотапливаемой бревенчатой избушке – умирать. Он пришел в себя, дополз до бочки с хвоей, где замачивали иголки со снегом и тем спасались от цинги, эти иголки и сосал. Когда через трое суток отряд вернулся с промысла, Демидов был жив. Его переправили в больницу.

Судьба свела их в этой лагерной больнице – Шаламов был фельдшером, Демидов по выздоровлении работал в рентгенкабинете, судьба их и развела. Пятнадцать лет искал его Шаламов, а когда уверился, что нет Демидова в живых, посвятил его памяти пьесу – использовал «решительное средство для вмешательства человека в загробный мир».

И надо же такому случиться, что на улице Горького в Москве в коммунальной квартире, где жила давняя знакомая Варлама Тихоновича, сменилась соседка. Надо случиться и тому, что именно ей на глаза попалась рукопись с удивившим ее посвящением: она-то знала, что Демидов жив и после освобождения работает в Ухте, на Севере.

Войдя в сферу взаимного тяготения, личности такого масштаба не могли не оттолкнуться. Внешне их развело писательство. Признавая превосходство Шаламова «в понимании тонкостей литературного ремесла», Демидов не снес «докторальности, безапелляционности в наставлениях и разносного тона». Разрыв болезненно переживали оба, но шага навстречу друг другу не сделали.

В году эдак 1967-м к Демидову в Ухту приехал «товарищ из Москвы» – как он рассказывал дочери, полковник КГБ, – представился и деликатно спросил, не разрешит ли Георгий Георгиевич почитать то, что пишет. Целую неделю ходил к нему, как в библиотеку, и читал. Сказал примерно следующее: безусловно, это интересно, даже талантливо, но, вы сами понимаете, Георгий Георгиевич, напечатать это нереально – во что же тогда будет верить народ? Это надо отложить в стороночку: вы же человек способный, опытный, напишите о рабочем классе, ну о чем сами хотите – мы вам обещаем огромные тиражи, писательский билет. Демидов отказался наотрез, а в письме к дочери обмолвился: «Стилистическая и прочая неотшлифованность, надеюсь, мне простится, пишу ведь по ночам, да за счет всех видов отдыха. Творческих отпусков и синекур мне не полагается: слишком тупое у меня политическое обоняние, чтобы держать нос по ветру».

...Когда в присутствии Демидова смели заглазно попрекать Шаламова отречением от «Колымских рассказов», тот взрывался: «Да что вы вообще о жизни знаете, о том, как ломают?..» С «Колымскими рассказами» Шаламов вошел в историю литературы. «Колымские рассказы» Демидова постигла участь даже не романа Пастернака – в августе 80-го органами госбезопасности одновременно в четы-

рех городах – в Калуге, где тогда жил Демидов (полетела душа на закат солнца), в Ухте, в Баку, по двум харьковским адресам – были произведены обыски и изъяты весь тираж «пятитомного» «собрания сочинений» (машинка брала пять экземпляров). А месяца за три до этого от случайной спички сгорела дача под Калугой, где хранились все черновики... В семьдесят два года в самый разгар работы (только-только закончил первую книгу) над автобиографическим романом «От рассвета до сумерек (Воспоминания и раздумья ровесника века)» Демидов остался без единой строки.

Когда Валентина Георгиевна в 58-м году первый раз приехала к нему в Ухту, портрет отца во весь рост украшал центральную площадь. Лучшего рационализатора республики Коми народ должен был знать в лицо. В свое время арест поставил точку в карьере физика. Демидов ей сказал при встрече: «Ты на меня не обижайся, но страшнее, чем потеря семьи, страшнее всего на свете для меня была потеря физики, когда я понял, что это все». Но не изобретать, не искать инженерных решений он не мог, стал начальником цеха, главным специалистом республики, начальником КБ.

Со своей дочерью он познакомился, когда ей исполнилось двадцать. В таком случае дети с родителями становятся либо задушевными друзьями, либо расходятся. Здесь произошло нечто большее – Демидов обрел наследницу духа, но для него главное было даже в другом: «Еще важнее, что из тебя формируется гражданин, а не верноподданная». Эти слова он пишет в тот момент, когда ему – лагернику с четырнадцатилетним стажем – дан шанс на верноподданническое восхождение, когда карьера его резко пошла в пик. И тут он бросает свою судьбу в штопор: «Я предпринимаю очень большие усилия, чтобы проделать карьеру по нисходящей». Карьера по нисходящей... может быть, это наиболее точное направление крестного пути русского интеллигента. «Мне мое творчество обходится очень дорого... Я неизбежно дохожу до болезни, хотя далеко еще не развалина. (Тьфу, не сглазить бы!) Начинаю плохо спать, теряю аппетит. Все спрашивают: что-нибудь случилось? Я мог бы ответить: да,

случилось. Совсем недавно. Нет еще и тридцати лет. И случилось не только со мной. Ведь неизданный писатель – это что-то вроде внутриутробного существа, эмбриона. Утешает только возможность рождения и после смерти».

Он успел посмотреть «Покаяние». Сказал дочери: «Теперь можно просить – они вернут». Начал набрасывать наброски письма-обращения. Через несколько дней умер. Сердце не выдержало надежды. Трижды он восставал, как Феникс из пепла. Мог стать великим физиком – не понадобился, стал выдающимся инженером, но замахнулся на режим – отброшен, отважился на писательство – догнали и добились. Некоторое время он еще пытался подняться – звонил, требовал, упрасивал... Но мыслимо ли в 72 года начать с нуля без единого черновика? Выполняя волю покойного, дочь написала на имя Александра Николаевича Яковлева. Рукописи вернули. Медленно, с трудом явление Демидова все же происходит. Книги его придут к читателю. Но я все время думаю: не будь у Демидова демидовской дочери, что же, так и не поразил бы Георгий своего змия, так и не поразил бы? И все-таки надежда рано или поздно становится верой, что не могла быть прожита такая жизнь втуне. «Преступлений социального характера утаить от истории никак нельзя. Они даже не шило в мешке. Скорее, кусок расплавленной лавы, раскаленного ядра...» Георгий Демидов. На этом каноническое житие окончено. Пришло время апокрифа. Сквозь пелену различимы два силуэта на древней улочке. Один из них окажется вскоре в далеком Вермонте, второй отправится в горькое горьковское изгнание... Но сейчас они приехали в Калугу, чтобы встретиться с Демидовым в его последнем пристанище. Через несколько мгновений они ошибутся адресом и разминутся во времени.

Апрель 1990 года

От редактора-составителя

В 1989 году Валентина Демидова, дочь Георгия Демидова привезла в Москву произведения отца. При нашей встрече она передала мне арестованные в 1980 году и только что возвращенные ей рукописи. Тогда же я познакомил ее с режиссером и сценаристом Еленой Якович, впервые поведавшей в открытой печати об этом замечательном человеке (Литературная газета, апрель 1990 г.)

Варлам Шаламов

Житие инженера Кипреева

Много лет я думал, что смерть есть форма жизни, и, успокоенный зыбкостью суждения, я вырабатывал формулу активной защиты своего существования на горестной этой земле.

Я думал, что человек тогда может считать себя человеком, когда в любой момент всем своим телом чувствует, что он готов покончить с собой, готов вмешаться сам в собственное свое житие. Это сознание и дает волю на жизнь.

Я проверял себя многократно и, чувствуя силу на смерть, оставался жить.

Много позже я понял, что я просто построил себе убежище, ушел от вопроса, ибо в момент решения я не буду таким, как сейчас, когда жизнь и смерть – волевая игра. Я ослабею, изменюсь, изменю себе. Я не стал думать о смерти, но почувствовал, что прежнее решение нуждается в каком-то другом ответе, что обещание самому себе, клятвы юности слишком наивны и очень условны.

В этом убедила меня история инженера Кипреева.

Я никого в жизни не предал, не продал. Но я не знаю, как бы держался, если бы меня били. Я прошел все свои следствия удачейшим образом – без битья, без метода номер три. Мои следователи во всех моих следствиях не прикасались ко мне пальцем. Это случайность, не более. Я просто проходил следствие рано – в первой половине тридцать седьмого года, когда пытки еще не применялись.

Но инженер Кипреев был арестован в 1938 году, и вся грозная картина битья на следствии была ему известна. И он выдержал это битье, кинувшись на следователя, и, из-

битый, посажен в карцер. Но нужной подписи следователи легко добились у Кипреева: его припугнули арестом жены, и Кипреев подписал.

Вот этот страшный нравственный удар Кипреев пронес сквозь всю жизнь. Немало в жизни арестантской есть унижений, растрелений. В дневниках людей освободительного движения России есть страшная травма – просьба о помиловании. Это считалось позором до революции, вечным позором. И после революции в общество политкаторжан и ссыльнопоселенцев не принимали категорически так называемых «подаванцев», то есть когда-либо по любому поводу просивших царя об освобождении, о смягчении наказания.

В тридцатых годах не только «подаванцам» все прощалось, но даже тем, кто подписал на себя и других заведомую ложь, подчас кровавую, – прощалось.

Живые примеры давно состарились, давно сгибли в лагере, в ссылке, а те, что сидели и проходили следствие, были сплошь «подаванцы». Поэтому никто и не знал, каким нравственным пыткам обрел себя Кипреев, уезжая на Охотское море – во Владивосток, в Магадан.

Кипреев был инженер-физик из того самого Харьковского физического института, где раньше всего в Советском Союзе подошли к ядерной реакции. Там работал и Курчатов. Харьковский институт не избежал чистки. Одной из первых жертв в атомной нашей науке был инженер Кипреев.

Кипреев знал себе цену. Но его начальники цену Кипрееву не знали. Притом оказалось, что нравственная стойкость мало связана с талантом, с научным опытом, научной страстью даже. Это были разные вещи. Зная о побоях на следствии, Кипреев подготовил себя очень просто – он будет защищаться как зверь, отвечать ударом на удар, не разбирая, кто исполнитель, а кто создатель этой системы, метода номер три. Кипреев был избит, брошен в карцер. Все начиналось сначала. Физические силы изменяли, а вслед за физической изменяла душевная твердость. Ки-

прев подписал. Угрожали арестом жены. Кипрееву было безмерно стыдно за эту слабость, за то, что при встрече с грубой силой он, интеллигент Кипреев, уступил. Тогда же, в тюрьме, Кипреев дал себе клятву на всю жизнь никогда не повторять позорного своего поступка. Впрочем, только Кипрееву его действие казалось позорным. Рядом с ним на нарах лежали также подписавшие, оклеветавшие. Лежали и не умирали. У позора нет границ, вернее, границы всегда личны, и требования к самому себе иные у каждого жителя следственной камеры.

С пятилетним сроком Кипреев явился на Колыму, уверенный, что найдет путь к досрочному освобождению, сумеет вырваться на волю, на материк. Конечно, инженера оценят. И инженер заработает зачеты рабочих дней, освобождение, скидку срока. Кипреев с презрением относился к лагерному труду физическому, он скоро понял, что ничего, кроме смерти, в конце этого пути нет. Работать, где можно было применить хоть тень специальных знаний, которые были у Кипреева, – и он выйдет на волю. Хоть квалификацию не потеряет.

Опыт работы на прииске, сломанные пальцы, попавшие в скрепер, физическая слабость, щуплость даже – все это привело Кипреева в больницу, а после больницы – на пересылку.

Беда была еще и в том, что инженер не мог не изобретать, не искать научных технических решений в том хаосе лагерного быта, в котором инженер жил.

Лагерь же, лагерное начальство смотрело на Кипреева как на раба, не более. Энергия Кипреева, за которую он сам себя клял тысячу раз, искала выхода.

Только ставка в этой игре должна быть достойной инженера, ученого. Эта ставка – свобода.

Колыма не только потому «чудная планета», что там «девять месяцев в году» зима. Там в войну сто рублей платили за яблоко, а ошибка в распределении свежих помидоров, привезенных с материка, приводила к кровавым драмам. Все это – и яблоки и помидоры – разумеется, для вольного,

вольнонаемного мира, к которому заключенный Кипреев не принадлежал. «Чудная планета» не только потому, что там «закон – тайга». Не потому, что Колыма – сталинский спецлагерь уничтожения. Не потому, что там дефицит – махорка, чифирь-чай, что это валюта колымская, истинное ее золото, за которое приобретается все.

И все же дефицитней всего было стекло – стеклянные изделия, лабораторная посуда, инструменты. Хрупкость стекла усиливали морозы, а норма «боя» не увеличивалась. Простой градусник медицинский стоил рублей триста. Но подпольных базаров на градусники не существовало. Врачу надо заявить уполномоченному райотдела о предложении, ибо медицинский градусник прятать труднее, чем Джоконду. Но врач никаких заявлений не подавал. Он просто платил триста рублей и приносил градусник из дому мерить температуру тяжелобольным.

На Колыме консервная банка – поэма. Жестяная консервная банка – это мерка, удобная мерка всегда под рукой. Это мерка воды, крупы, муки, киселя, супа, чая. Это кружка для чифиря, в ней так удобно «подварить чифирку». Кружка эта стерильна – она очищена огнем. Чай, суп разогревают, кипятят в печке, на огне костра.

Трехлитровая банка – это классический котелок доходяг, с проволочной ручкой, которая удобно прикреплена к поясу. А кто на Колыме не был или не будет доходягой?

Стеклянная банка – это свет в раме деревянного переплета, ячеистом, рассчитанном на обломки стекла. Это прозрачная банка, в которой так удобно хранить медикаменты в амбулатории.

Полулитровая банка – посуда для третьего блюда лагерьной столовой.

Но не термометры, не лабораторная посуда, не консервные банки главный стеклянный дефицит на Колыме.

Главный дефицит – это электролампа.

На Колыме сотни приисков, рудников, тысячи участков, разрезов, шахт, десятки тысяч золотых, урановых, оловянных, вольфрамовых забоев, тысячи лагерных командиро-

вок, вольнонаемных поселков, лагерных зон и бараков отрядов охраны, и всюду нужен свет, свет, свет. Колыма девять месяцев живет без солнца, без света. Бурный, незакатный солнечный свет не спасает, не дает ничего.

Есть свет и энергия от сдвоенных тракторов, от локомотива.

Промприборы, бутары, забои требуют света. Подсвеченные юпитерами забои удлиняют ночную смену, делают производительней труд.

Везде нужны электролампы. Их возят с материка – трехсотки, пятисотки и в тысячу свечей, готовых осветить барак и забой. Неровный свет движков обрекает лампы на преждевременный износ.

Электролампа – это государственная проблема на Колыме.

Не только забой должен быть подсвечен. Должна быть подсвечена зона, колючая проволока с караульными вышками по норме, которую Дальний Север увеличивает, а не уменьшает.

Отряду охраны должен быть обеспечен свет. Простой активкой (как в приисковом забое) тут не обойдешься, тут люди, которые могут бежать, и, хотя ясно, что бежать зимой некуда и никто на Колыме зимой никогда не бежал, закон остается законом, и, если нет света или нет ламп, разносят горящие факелы вокруг зоны и оставляют их на снегу до утра, до света. Факел – это тряпка в мазуте или бензине.

Электролампы перегорают быстро. И восстановить их нельзя.

Кипреев написал докладную записку, удивившую начальника Дальстроя. Начальник уже почувствовал орден на своем кителе, кителе, конечно, а не френче и не пиджаке.

Восстановить лампы можно – лишь бы было цело стекло.

И вот по Колыме полетели грозные приказы. Все перегоревшие лампочки бережно доставлялись в Магадан. На промкомбинате, на сорок седьмом километре был построен завод. Завод восстановления электрического света.

Инженер Кипреев был назначен начальником цеха завода. Весь остальной персонал, штатная ведомость, выросшая вокруг ремонта электроламп, был только вольнонаемным. Удача была пущена в надежные, вольнонаемные руки. Но Кипреев не обращал на это внимания. Его-то создатели завода не могут не заметить.

Результат был блестящим. Конечно, после ремонта лампы долго не работали. Но сколько-то часов, сколько-то суток золотых Кипреев сберег Колыме. Этих суток было очень много. Государство получило огромную выгоду, военную выгоду, золотую выгоду.

Директор Дальстроя был награжден орденом Ленина. Все начальники, имевшие отношение к ремонту электроламп, получили ордена.

Однако ни Москва, ни Магадан даже не подумали отметить заключенного Кипреева. Для них Кипреев был раб, умный раб, и больше ничего.

Все же директор Дальстроя не считал возможным вовсе забыть своего таежного корреспондента.

На великий колымский праздник, отмеченный Москвой, в узком кругу, на торжественном вечере в честь – чью честь? – директора Дальстроя, каждого из получивших ордена и благодарности, – ведь кроме правительственного указа директор Дальстроя издал свой приказ о благодарностях, награждениях, поощрениях, – всем участвовавшим в ремонте электроламп, всем руководителям завода, где был цех по восстановлению света, были, кроме орденов и благодарностей, еще приготовлены американские посылки военного времени. Эти посылки, входившие в поставку по лендлизу, состояли из костюма, галстука, рубашки и ботинок. Костюм, кажется, пропал при перевозке, зато ботинки – краснокожие американские ботинки на толстой подошве – были мечтой каждого начальника.

Директор Дальстроя посоветовался с помощником, и все решили, что о лучшем счастье, о лучшем подарке инженер зэка не может и мечтать.

О сокращении срока инженеру, о полном его освобождении директор Дальстроя и не предполагал просить Москву в это тревожное время. Раб должен быть доволен и старым ботинкам хозяина, костюмом с хозяйского плеча.

Об этих подарках говорил весь Магадан, вся Колыма. Здешние начальники получили орденов и благодарностей предостаточно. Но американский костюм, ботинки на толстой подошве – это было вроде путешествия на Луну, полета в другой мир.

Настал торжественный вечер, блестящие картонные коробки с костюмами громоздились на столе, затянутом красным сукном.

Директор Дальстроя прочел приказ, где, конечно, имя Кипреева не было упомянуто, не могло быть упомянуто.

Начальник политуправления прочел список на подарки. Последней была названа фамилия Кипреева. Инженер вышел к столу, ярко освещенному лампами, – его лампами, – и взял коробку из рук директора Дальстроя.

Кипреев выговорил отдельно и громко: «Американских обносков я носить не буду», – и положил коробку на стол.

Тут же Кипреев был арестован и получил восемь лет дополнительного срока по статье – какой, я не знаю, да это и не имеет никакого значения на Колыме, никого не интересует.

Впрочем, какая статья за отказ от американских подарков? Не только, не только. В заключении следователя по новому «делу» Кипреева сказано: говорил, что Колыма – это Освенцим без печей.

Этот второй срок Кипреев встретил спокойно. Он понимал, на что идет, отказываясь от американских подарков. Но кое-какие меры личной безопасности инженер Кипреев принял. Меры были вот какие. Кипреев попросил знакомого написать письмо жене на материк, что он, Кипреев, умер. И перестал писать письма сам.

С завода инженер был удален на прииск, на общие работы. Вскоре война кончилась, лагерная система сделалась еще сложнее – Кипреева как сугубого рецидивиста ждал номерной лагерь.

Инженер заболел и попал в центральную больницу для заключенных. Здесь в работе Кипреева была большая нужда – надо было собрать и пустить рентгеновский аппарат, собрать из старья, из деталей-инвалидов. Начальник больницы доктор Доктор обещал освобождение, скидку срока. Инженер Кипреев мало верил в такие обещания, он числился «больным», а зачеты дают только штатным работникам больницы. Но в обещание начальника хотелось верить, рентгенокабинет не прииск, не золотой забой.

Здесь мы встретили Хиросиму.

– Вот она – бомба, это то, чем мы занимались в Харькове.

– Самоубийство Форрестола. Поток издевательских телеграмм.

– Ты знаешь, в чем дело? Для западного интеллигента принимать решение сбросить атомную бомбу очень сложно, очень тяжело. Депрессия психическая, сумасшествие, самоубийство – вот цена, какую платит за такие решения западный интеллигент. Наш Форрестол не сошел бы с ума. Сколько встречал ты хороших людей в жизни? Настоящих, которым хотелось бы подражать, служить?

– Сейчас вспомню: инженер-вредитель Миллер и еще человек пять.

– Это очень много.

– Ассамблея подписала протокол о геноциде.

– Геноцид? С чем его едят?

– Мы подписали конвенцию. Конечно, тридцать седьмой год – это не геноцид. Это истребление врагов народа. Можно подписывать конвенцию.

– Режим закручивают на все винты. Мы не должны молчать. Как в букваре: «Мы не рабы. Рабы не мы». Мы должны сделать что-то, доказать самим себе.

– Самим себе доказывают только собственную глупость. Жить, выжить – вот задача. И не сорваться... Жизнь более серьезна, чем ты думаешь.

Зеркала не хранят воспоминаний. Но то, что у меня прячется в моем чемодане, трудно назвать зеркалом –

обломок стекла, как будто поверхность воды замутилась, и река осталась мутной и грязной навсегда, запомнив что-то важное, что-то бесконечно более важное, чем хрустальный поток прозрачной, откровенной до дна реки. Зеркало замутилось и уже не отражает ничего. Но когда-то зеркало было зеркалом, было подарком бескорыстным и пронесенным мною через два десятилетия – лагеря, воли, похожей на лагерь, и всего, что было после XX съезда партии. Зеркало, подаренное мне, не было коммерцией инженера Кипреева – это был опыт, научный опыт, след этого опыта во тьме рентгеновского кабинета. Я сделал к этому зеркальному куску деревянную оправу. Не сделал – заказал. Оправа до сих пор цела, ее делал какой-то столяр из латышей, выздоравливающий больной – за пайку хлеба. Я уже мог тогда дать пайку хлеба за такой сугубо личный, сугубо легкомысленный заказ.

Я смотрю на эту оправу – грубую, покрашенную масляной краской, какой красят полы, в больнице шел ремонт, и столяр выпросил чуток краски. Потом раму лакировал – лак давно стерся. В зеркало ничего не видно, а когда-то я брился перед ним в Оймяконе, и все вольняшки завидовали мне. Завидовали мне до 1953 года, когда в поселок кто-то вольный, кто-то мудрый прислал посылку из зеркал, дешевых зеркал. И эти крошечные копеечные зеркала – круглые и квадратные – продавались по ценам, напоминающим цены на электролампы. Но все снимали с книжки деньги и покупали. Зеркала были распроданы в один день, в один час.

Тогда мое самодельное зеркало уже не вызывало зависть моих гостей.

Зеркало со мной. Это не амулет. Приносит ли это зеркало счастье – не знаю. Может быть, зеркало привлекает лучи зла, отражает лучи зла, не дает мне раствориться в человеческом потоке, где никто, кроме меня, не знает Колымы и не знает инженера Кипреева.

Кипрееву было все равно. Какой-то уголовник, почти блатной, рецидивист пограмотней, приглашенный началь-

ником для обучения грамотный блатарь, постигающий тайну рентгенокабинета, включающий и выключающий рычаги, блатарь, что шел по фамилии Рогов, учился у Кипреева делу рентгенотехники.

Тут у начальства были намерения немалые, и меньше всего начальство думало о Рогове, блатаре. Нет, но Рогов поселился с Кипреевым в рентгенокабинете, стало быть, контролировал, следил, доносил, участвовал в государственной работе, как друг народа. Постоянно информировал, предупреждал всякие беседы, визиты. И если не мешал, то доносил, блюл.

Это была главная цель начальства. А кроме того, Кипреев готовил смену самому себе – из бытовиков.

Как только Рогов научился бы делу – это была профессия на всю жизнь, – Кипреева послали бы в Берлаг, номерной лагерь для рецидивистов.

Все это Кипреев понимал и не собирался противоречить судьбе. Он учил Рогова, не думая о себе.

Удача Кипреева была в том, что Рогов плохо учился. Как всякий бытовик, понимающий главное, что начальство не забудет бытовиков ни при каких обстоятельствах, Рогов не очень внимательно учился. Но пришел час. Рогов сказал, что он может работать, и Кипреева отправили в номерной лагерь. Но в рентгеноаппарате что-то разладилось, и через врачей Кипреева снова прислали в больницу. Рентгенокабинет заработал.

К этому времени относится опыт Кипреева с блендой.

Словарь иностранных слов 1964 года так объясняет слово «бленда»: «...4) диафрагма (заслонка с произвольно изменяемым отверстием), применяемая в фотографии, микроскопии и рентгенокопии».

Двадцать лет назад в словаре иностранных слов «бленды» нет. Это новинка военного времени – попутное изобретение, связанное с электронным микроскопом.

В руки Кипреева попала оборванная страница технического журнала, и бленда была применена в рентгенокабинете в больнице для заключенных на левом берегу Колымы.

Бленда была гордостью инженера Кипреева – его надеждой, слабой надеждой, впрочем. О бленде было доложено на врачебной конференции, послан доклад в Магадан, в Москву. Никакого ответа.

– А зеркало ты можешь сделать?

– Конечно.

– Большое. Вроде трюмо.

– Любое. Было бы серебро.

– А ложки серебряные?

– Годятся.

Толстое стекло для столов в кабинетах начальников было выписано со склада и перевезено в рентгенокабинет.

Первый опыт был неудачен, и Кипреев в бешенстве расколол молотком зеркало.

Один из этих осколков – мое зеркало, кипреевский подарок.

Второй раз все прошло удачно, и начальство получило из рук Кипреева свою мечту – трюмо.

Начальник даже и не думал чем-нибудь отблагодарить Кипреева. К чему? Грамотный раб и так должен быть благодарен, что его держат в больнице на койке. Если бы бленда нашла внимание начальства, получена была бы благодарность – не больше. Вот трюмо – это реальность, а бленда – миф, туман... Кипреев был вполне согласен с начальником.

Но по ночам, засыпая на топчане в углу рентгенокабинета, дождавшись ухода очередной бабы от своего помощника, ученика и осведомителя, Кипреев не хотел верить ни Колыме, ни самому себе. Ведь бленда же не шутка. Это технический подвиг. Нет, ни Москве, ни Магадану не было дела до бленды инженера Кипреева.

В лагере не отвечают на письма и напоминать не любят. Приходится только ждать. Случая, какой-то важной встречи.

Все это трепало нервы – если эта шагреневая кожа еще была цела, изорванная, истрепанная.

Надежда для арестанта – всегда кандалы. Надежда всегда несвобода. Человек, надеющийся на что-то, меняет свое поведение, чаще кривит душой, чем человек, не имеющий надежды. Пока инженер ждал решения об этой проклятой бленде, он прикусил язык, пропускал мимо ушей все шуточки нужные и не нужные, которыми развлекалось его ближайшее начальство, не говоря уж о помощнике, который ждал дня и часа своего, когда будет хозяином. Рогов и зеркала уж научился делать – при-быль, навар обеспечен.

О бленде знали все. Шутили над Кипреевым все – в том числе секретарь парторганизации больницы аптекарь Кругляк. Мордастый аптекарь был неплохой парень, но горяч, а главное – его учили, что заключенный – это червь. А этот Кипреев... Аптекарь приехал в больницу недавно, истории восстановления электрических лампочек нигде не слыхал. Никогда не подумал, что стоило собрать рентгеновский кабинет в глухой тайге на Дальнем Севере.

Бленда казалась Кругляку ловкой выдумкой Кипреева, желанием «раскинуть темноту», «зарядить туфту» – этим-то словам аптекарь уже научился.

В процедурной хирургического отделения Кругляк обругал Кипреева. Инженер схватил табуретку и замахнулся на секретаря парторганизации. Тут же табуретку у Кипреева вырвали, увели его в палату.

Кипрееву грозил расстрел. Или отправка на штрафной прииск, в спецзону, что хуже расстрела. У Кипреева в больнице было много друзей, и не по зеркалам только. История с электролампочками была хорошо известна, свежа. Ему помогали. Но тут пятьдесят восемь и пункт восемь – террор.

Пошли к начальнику больницы. Это сделали женщины-врачи. Начальник больницы Винокуров не любил Кругляка. Винокуров ценил инженера, ждал результатов на запрос о бленде, а главное, был незлой человек. Начальник, который не использовал своей власти для зла. Само-

снабженец, карьерист Винокуров не делал людям добра, но и зла не хотел никому.

– Хорошо, я не передам материал уполномоченному для начала дела против Кипреева только в том случае, – сказал Винокуров, – если не будет рапорта Кругляка, самого пострадавшего. Если будет рапорт – дело начнется. Штрафной прииск – это минимум.

– Спасибо.

С Кругляком говорили мужчины, говорили его друзья.

– Неужели ты не понимаешь, что человека расстреляют. Ведь он бесправен. Это не я и не ты.

– Но он руку поднял.

– Руку он не поднял, этого никто не видал. А вот если бы я ругался с тобой, то по второму слову дал бы тебе по роже, потому что ты во все лезешь, ко всем цепляешься.

Кругляк, добрый малый по существу, совсем непригодный для колымских начальников, сдался на уговоры. Кругляк не подал рапорта.

Кипреев остался в больнице. Прошел еще месяц, и в больницу приехал генерал-майор Деревянко, заместитель директора Дальстроя по лагерю – самый высокий начальник для заключенных.

В больнице начальство любило останавливаться. Там было где остановиться большому северному начальству, было где выпить и закусить, было где отдохнуть.

Генерал-майор Деревянко, облачившись в белый халат, ходил из отделения в отделение, разминаясь перед обедом. Настроение генерал-майора было радужным, и Винокуров решил рискнуть.

– Вот у меня есть заключенный, сделавший важную для государства работу.

– Что за работа?

Начальник больницы кое-как объяснил генерал-майору, что такое бленда.

– Я хочу на досрочное представить этого заключенного.

Генерал-майор поинтересовался анкетными данными и, получив ответ, помычал.

– Вот что я тебе скажу, начальник, – сказал генерал-майор. – там бленда блендой, а ты лучше отправь этого инженера... Корнеева...

– Кипреева, товарищ начальник.

– Вот-вот, Кипреева. Отправь его туда, где ему положено быть по анкетным данным.

– Слушаюсь, товарищ начальник.

Через неделю Кипреева отправили, а еще через неделю разладился рентген, и Кипреева вызвали снова в больницу.

Теперь уже было не до шуток – Винокуров боялся, чтоб гнев генерал-майора не пал на него.

Начальник управления не поверит, что рентген разладился. Кипреев был назначен в этап, но заболел и остался.

Теперь не могло быть и речи о работе в рентгенокабинете. Кипреев понял это хорошо.

У Кипреева был мастоидит – простуженная голова на лагерной приисковой койке, – и операция была жизненным показанием. Но никто не хотел верить ни температуре, ни докладам врачей. Винокуров бушевал, требуя скорейшей операции.

Лучшие хирурги больницы собирались делать мастоидит кипреевский. Хирург Браудэ был чуть не специалист по мастоидитам. На Колыме простуд больше чем надо, Браудэ был очень опытен, сделал сотни таких операций. Но Браудэ должен был только ассистировать. Операцию должна была делать доктор Новикова, крупный отоларинголог, ученица Воячека, много лет проработавшая в Дальстрое. Новикова никогда не была в заключении, но уже много лет работала только на северных окраинах. И не потому, что длинный рубль. А потому, что на Дальнем Севере Новиковой многое прощалось. Новикова была алкоголичка запойная. После смерти мужа талантливая умница, красавица скиталась годами по Дальнему Северу. Начинала блестяще, а потом срывалась на долгие недели.

Новиковой было лет пятьдесят. Выше ее не было по квалификации человека. Сейчас ушница была в запое, запой

кончался, и начальник больницы разрешил задержать Кипреева на несколько дней.

В эти несколько дней Новикова поднялась. Руки у нее перестали трястись, и ушница блестяще сделала операцию Кипрееву – прощальный, вполне медицинский подарок своему рентгенотехнику. Ассистировал ей Браудэ, и Кипреев лег в больницу.

Ждал его номерной лагерь, где на работу ходили строем по пять, локти в локти, где по тридцать собак окружали колонну людей, когда их гоняли.

В этой безнадежности последней Кипреев не изменил себе. Когда заведующий отделением выписал больному с операцией мастоидита, серьезной операцией, заключенному-инженеру спецзаказ, то есть диетическое питание, улучшенное питание, Кипреев отказался, заявив, что в отделении на триста человек есть больные тяжелее его, с большим правом на спецзаказ.

И Кипреева увезли.

Пятнадцать лет я искал инженера Кипреева. Посвятил его памяти пьесу – это решительное средство для вмешательства человека в загробный мир.

Мало было написать о Кипрееве пьесу, посвятить его памяти. Надо было еще, чтоб на центральной улице Москвы в коммунальной квартире, где живет моя давняя знакомая, сменилась соседка. По объявлению, по обмену.

Новая соседка, знакомясь с жильцами, вошла и увидела пьесу, посвященную Кипрееву, на столе; повертела пьесу в руках.

– Совпадают буквы инициалов с моим знакомым. Только он не на Колыме, а совсем в другом месте.

Моя знакомая позвонила мне. Я отказался продолжать разговор. Это ошибка. К тому же по пьесе герой – врач, а Кипреев – инженер-физик.

– Вот именно, инженер-физик.

Я оделся и поехал к новой жилище коммунальной квартиры.

Очень хитрые узоры плетет судьба. А почему? Почему понадобилось столько совпадений, чтобы воля судьбы

сказалась так убедительно? Мы мало ищем друг друга, и судьба берет наши жизни в свои руки.

Инженер Кипреев остался в живых и живет на Севере. Освободился еще десять лет назад. Был увезен в Москву и работал в закрытых лагерях. После освобождения вернулся на Север. Хочет работать на Севере до пенсии.

Я повидался с инженером Кипреевым.

– Ученым я уже не буду. Рядовой инженер – так. Вернуться бесправным, отставшим – все мои сослуживцы, конкурники давно лауреаты.

– Что за чушь.

– Нет, не чушь. Мне легче дышится на Севере. До пенсии будет легче дышаться.

**Переписка
Г. Г. Демидова
и В. Т. Шаламова
1965–1967**

6 мая 1965

Г. Г. Демидов¹ – В. Т. Шаламову

Варлам!

Итак, и наш случай пополнил архив доказательств верности поговорки о разнице между человеком и горой. Правда, мы еще не сошлись, но, как кажется, надежно вошли в сферу взаимного тяготения. Надеюсь, что в оставшиеся до нашей встречи несколько недель мы не «нарежем дуба», раз уж продержались лет шестнадцать-семнадцать, хотя вероятность этого события и возрастает непрерывно.

О том, что ты жив и работаешь в своей области, я от кого-то знал, хотя этот «кто-то» и не мог, видимо, сообщить мне твоего адреса. В Москве находится М. Г. Варшавская, которую ты, вероятно, помнишь, Берта Ал-на Бабина², проводшая на Колыме больше полутора десятков лет (в Эльгене), по профессии тоже журналистка.

Обо мне ты, вероятно, знаешь уже почти все. Конечно, я никуда не собираюсь отсюда, по крайней мере, до пенсии. Это вовсе не значит, что я удовлетворен своей работой, а, тем более, ее результатами. Просто теперь уж надо продолжать по инерции.

А вот о тебе я пока что ничегошеньки не знаю. Где ты со-трудничаешь? В каком жанре пишешь? Каков твой путь после Колымы? Постарайся аннотировать все это еще до встречи. Таковая состоится, возможно, в июне. Постараюсь вырваться отсюда на несколько дней в вашу чертову град-столицу. Прежде я ненавидел Москву как синоним всякой неправды и каждому, кто в нее отправлялся, дарил спички с предписанием зажечь Москву под ветер со всех четырех концов. Теперь, правда, сменил гнев на милость, тем более что число

¹ Демидов Георгий Георгиевич (1908–1987) – инженер, физик, персонаж рассказа Шаламова «Житие инженера Кипреева». По словам Шаламова, один из лучших и умнейших людей, встретившихся ему на Колыме.

² Бабина Берта Александровна была репрессирована – автор воспоминаний, опубликованных в сб. «Доднесь тяготеет». М., 1989.

проживающих в Москве друзей увеличивается и оставить их погорельцами у меня не поднимается рука.

На днях там у вас скончался мой товарищ по Ухте, и я еще не оправился от ощущения несправедливости судьбы. Но, видимо, «наклад с барышом», по старой купеческой поговорке, действительно живут бок о бок. И вот я пишу тебе, Варлам Шаламов, фельдшер из хирургического...

Если знаешь о судьбах наших общих знакомых и друзей по Левому берегу, напиши пару слов и о них.

Крепко жму руку.

Г. Демидов

Адрес на конверте, но я приведу его еще и здесь: Ухта, Коми АССР, Севастопольская ул., 4, кв. 9. Демидову Георгию Георгиевичу.

30 июня 1965

Г. Г. Демидов – В. Т. Шаламову

Дорогой Варлам!

Я оказался несостоятельным в своей попытке устроить себе командировку в Москву. Это не удалось в июне и вряд ли удастся в июле и августе. В летнее время на наших производствах всегда возникают напряжения из-за массовых и длительных отпусков. Кругом образуются прорехи, затыкать которые удобнее всего теми, кто не предъявляет никаких лечебных путевок, путевок своих детей и жен, телеграмм от родственников, стареньких пап и мам. Наша неофициальная статистика, например, знает, что престарелые матери болеют и умирают почти исключительно в летний сезон.

Теперь у меня остается только одна возможность увидеться с тобой и другими московскими друзьями: приехать

к вам в сентябре. Тогда у меня будет отпуск, и я загуляю у вас недели на две, а, может, и больше. Вообще-то я дорожу отпуском как временем, когда можно беспрепятственно писать. А делаю это я всегда дома.

Я опять начал баловаться писаниной. Один из здешних руководителей общества писателей Коми сказал, что я страдаю «чесоткой», которую, видите ли, надо прятать от людей. Он имел в виду, конечно, «писательский зуд» – понятие тоже не из высоких. Сам он – бездарный чиновник от литературы, один из экземпляров многотиражного издания современных болгаринных.

Мне трудно судить, насколько имеет смысл моя писательская работа. Вероятно, только на основе той, на которой мышь обязательно грызет что-нибудь, чтобы только сточить зубы. Надежды быть напечатанным у меня, конечно, нет никакой. Впрочем, нет и особой тяги к этому. И все же «гонорары» за писательскую работу я получаю. Неофициально в виде теплых писем от иногда совсем не знакомых людей и, конечно, в виде дружеских похвал. Мои официальные гонорары – это доносы, окрики, угрозы, прямые и замаскированные. И самое подлое – «товарищеские» обсуждения в узком литературном кругу.

Наша здешняя литературная яма имеет, конечно, уездный масштаб. Но источаемая ею вонь качественно та же, что и от ямы всесоюзной.

Мне что-то перестала писать Вера³. Дуется, что ли? Правда, она прислала как-то моим соседям телеграмму с запросом: что со мной? Это непонятно. Я ей писал. Кстати, телеграмма была подписана: Вера, Валя⁴.

Вторая из этих дам в тот же день связалась со мной по телефону часа на три раньше отправления телеграммы. Происходит явная организационная неразбериха дамского типа.

Ты тоже что-то не пишешь. Ждешь письма от меня. Но тебе-то небось легче написать, чем мне. Я ж ведь, кроме прочего, и производственный план выполняю.

³ Линде Вера Михайловна – врач, знакомая Г.Г. Демидова по Ухте, где он жил после реабилитации.

⁴ Гольцман Валентина Николаевна – знакомая Г.Г. Демидова по Ухте.

В третьей декаде июня у нас стало тепло, даже жарко. Можно купаться и загорать, но время, время! Где его взять? Сейчас пишу серию «Колымских рассказов». Получается что-то плохо. Привет друзьям, знакомым и незнакомым. Пиши.

Г. Демидов

Прости неряшливость. Тороплюсь, как всегда.

21 июля 1965

В. Т. Шаламов – Г. Г. Демидову

Дорогой Георгий!

У Веры Михайловны было воспаление легких. Торопливость, поспешность – привычка плохая и подлежит осуждению, впрочем, я на улице Горького не ходил и не звонил, и ничего не знал, пока Вера Михайловна не поправилась. Я живу неподалеку и, если бы держался строгих правил этикета, знал бы о ее болезни, конечно. Расстояние Ухта – Москва не больше, чем 5 троллейбусных остановок: улица Горького – Ленинградское шоссе.

Сентябрь так сентябрь. Я буду писать о твоём писательском долге – он не может быть забавой, мы поговорим при личной встрече. Ясно, во всяком случае, что запас знаний, наблюдений плюс и нравственная позиция в состоянии соединения встречаются не часто. Дело в том, что писатели – судьи времени, а не подручные, как думают теперь часто местные литературные вожди. Вонь литературной ямы местной, мне кажется, не должна тебя тревожить. Суть вопроса ведь в другом. Очень хотел бы прочесть твой рассказ о Колыме. Существует одна любопытная абберрация – все, кто из нашего брата берется за перо, начинают почему-то со следствия и, не добравшись до самого главного, до самого страшного, устают.

Мы поговорим о прозе будущего. Это, мне кажется, будет проза, выстрадавшая свое право.

Начинают с конца. Тебе надо избежать этой ошибки. Хотелось бы потолковать поподробнее, показать кое-что. Вот о чем хотелось бы поговорить. В рукописях, которые я видел, надо отсечь беллетризацию, литературность. Выйдет сильнее, но и так звучит хорошо.

Я чуть не написал рассказ о тебе. Может быть, напишу еще. О телефонном звонке дочери твоей⁵ (это дочь, да?) я знаю от В. М. Фамилия хирурга, который забыл про этап с отморожениями, – Рубанцев. Он одобряет доктора Доктора⁶ – одну из самых зловещих колымских фигур, на мой взгляд. Впрочем, Рубанцева я больше вряд ли увижу, я написал про него рассказ «Прокуратор Иудеи» на франсовский мотив. Сердечный привет.

В. Шаламов

21 июля 1965

Г. Г. Демидов – В. Т. Шаламову

Дорогой Варлам!

Я давно получил твое последнее письмо. Кажется, оно – самое содержательное и самое неразборчивое из всех, полученных мною от тебя.

Разводить дискуссию в письмах, конечно, ни к чему. Скоро, надеюсь, мы встретимся. Да и возразить против главных твоих положений мне нечего. Вот разве, что «писатели – судьи времени» – выражение, требующее уточнения.

⁵ Демидова Валентина Георгиевна – дочь Г. Г. Демидова, в настоящее время – в США.

⁶ Доктор Михаил Львович – начальник Центральной больницы для заключенных в пос. Дебин. Резко отрицательно описан Шаламовым в рассказах «Афинские ночи», «Курсы» и др. На Колыме его звали доктор Доктор.

Не всякий писатель может претендовать на такой титул. Я бы считал свою жизнь прожитой не зря, если бы был уверен, что буду одним из свидетелей на суде будущего над прошедшим. Но здесь, конечно, возникает много вопросов и сомнений. Что такое суд яйца над курицей?

Выражение «балуюсь писательством» я, конечно, применил не всерьез, и нечего мне было по этому поводу читать мораль. Какое уж там баловство, если каждую секунду своего, очень небогатого, бюджета времени я трачу именно на это «баловство», терплю часто крупные неприятности и явно укорачиваю себе жизнь. Впрочем, не мне тебе говорить, что жизнь «премудрого пескаря» не стоит гроша ломаного, какой бы долгой она ни была.

Твои нигилистические рассуждения о ненужности всего в литературе, что апеллирует к устаревшим эмоциям, мне были известны и прежде. Если не ошибаюсь, ты был поклонником Писарева. А сей последний громил даже Пушкина. Но при всей своей старомодности Пушкин остается Пушкиным. Я предвижу возражение: но ведь то Пушкин!

Впрочем, был уговор – в письмах не дискутировать. Самое страшное в твоих возражениях – почерк, которым они будут написаны. Просить же его улучшить так же безнадежно, как просить заику не заикаться. Я это знаю по себе. Поэтому и перешел на машинопись.

Пару-тройку «Колымских рассказов» я тебе привезу. Тебя они, вероятно, интересуют больше всего со стороны трактовки темы, которую разрабатываешь и ты. Это не совсем настоящий интерес, но уж ладно.

Вера меня очень огорчила сообщением, что у нее в легких не совсем чисто. Как фтизиатр она всегда подвергается опасности. А эта опасность, помноженная на Веркин энтузиазм и редкостную неспособность устраивать жизнь, держит меня в постоянном страхе за ее здоровье.

Сейчас у нее в гостях мой товарищ по работе и сосед по квартире. Очень бывалый человек. Жена у этого Б.С. здешняя. Она также по-настоящему пытливая и думающая баба. Таких становится все больше, и хотелось бы думать,

что именно это обстоятельство и определит будущее мира. Надоела эта его проклятая стадия младенчества. Не инфантильно ли человечество по своей природе?

Привет друзьям. Крепко жму твою руку.

Г. Демидов

1965

В. Т. Шаламов – Г. Г. Демидову

Дорогой Георгий!

Не скрою, меня покорила фраза твоя о том, что я «разрабатываю» колымскую тему. Я прекратил бы переписку с лю-бым, кто может применить такое выражение к тому, что мы видели. Тебе же на первый раз прощается по трем причинам: 1) нашему с тобой знакомству, 2) твоей биографии, 3) то, что ты не был на Колыме на золоте. Ты приехал уже к концу 1938 го-да, года исключительного, да и вообще Колыму без золота не понять, не почувствовать. Только разницей опыта можно объяснить это твое неудобное, неподходящее выражение.

Никакой иронический тон, никакая условность, никакая аллегоричность недопустимы.

Чем больше я занимаюсь – пишу с большой неохотой, не люблю отвечать на этот вопрос. Я исследую некие психологические закономерности, возникающие в обществе, где человека пытаются превратить в нечеловека. Эти новые закономерности, новые явления человеческого духа и души возникают в условиях, которые не должны быть забыты, и фиксация некоторых из этих условий – нравственный долг любого, побывавшего на Колыме.

Кроме того, пытаюсь поставить вопрос о новой прозе, не прозе документа, а прозе, выстраданной, как документ. Я не пишу воспоминаний и рассказов тоже не пишу. Вер-

нее, пытаюсь написать не рассказ, а то, что было бы не литературой.

Что касается Писарева, то я, конечно, умолкаю. Если приводится в действие столь тяжелая артиллерия.

Не вдаваясь в тонкости и высоты, попробую на примере популярном разъяснить, в чем дело, суть моего совета, вернее, желания.

Один мой знакомый написал две повести – «Оранжевый абажур» и «Фанэ-квас»⁷ (вернее Фонэ-квас, ибо Фонэ – прозвище от Афони). Вот, собственно, и все, что я хотел сказать. Разумеется, вольному воля. Материал слишком хорош, чтобы его портить по советам Белинского – удивительного догматика, человека, уверявшего, что стихи можно пересказать своими словами.

Надеюсь, что это письмо еще более содержательное, чем предыдущее. И ты непременно поумнеешь. Не сердись.

Твой В. Шаламов.

P. S. О Пастернаке. Я знал Пастернака, встречался с ним, переписывался, говорил, дружил. При огромной одаренности, духовном и душевном богатстве в Пастернаке не было какого-то человеческого качества, которое сделало бы из него пророка. Я очень хотел сделать из Пастернака пророка, но ничего путного не получилось.

27 июля 1965

Г. Г. Демидов – В. Т. Шаламову

Дорогой Варлам!

Получил я твое, уже сверхсодержательное письмо и, прочтя оное, конечно, поумнел. Боюсь даже, что если содержательность твоих посланий будет нарастать в том же темпе, то они станут опасными для нашей переписки.

⁷ Повести Г. Г. Демидова.

Ты просишь меня не сердиться. Но кому могут понравиться докторальность, безапелляционность в наставлениях и разносный тон. Я, конечно, чувствую выстраданность утверждаемых тобой положений. Они вряд ли могут быть приняты полностью, как и всякая крайняя точка зрения, но в них, безусловно, содержится правильная мысль о необходимости пересмотра канонизированных уставов. Вопрос лишь в том, что можно предложить взамен?

Какого черта ты окрысился на безобидное выражение «колымская тема»? С чего ты взял, что оно имеет иронический смысл, выражает мою непочтительность к эпохе 38-го, да и прочих лет в их колымском варианте?

И, наконец, за кого ты принимаешь меня самого? За придурка, прохлябавшего по поверхности колымской лагерной жизни где-нибудь в Дебине или подобном значимом месте? Разве тебе не известно, что на Колыме я именно с 38-го, правда, с осени. Что несколько лет я пробыл на Бутугычаге, что был и на золоте и что из 14 колымских лет на «общих» провел почти 10. Даже совершенно не способный к наблюдению и сопоставлению человек при этих обстоятельствах не может не постигнуть трагедийности этого «Освенцима без печей», выражения, за которое, среди прочего, я получил в 46-м второй срок. И этот суд в Магадане мог бы послужить тебе достаточным напоминанием о недопустимости обвинения меня в поверхностности и непонимании сущности Колымы.

«Надо лично почувствовать». А я вот теперь хлопаю на машинке прежде всего потому, что не сгибаются сломанные в шахте пальцы. Вернее, не разгибаются. И постоянно болит на старости разбитый позвоночник. И дает себя знать заработанный в бытность «сухим» бурильщиком силикоз. Я десять раз «доходил» и дважды умирал от «переохлаждения». С кем ты меня спутал, Варлам?

Признаюсь, я не люблю ироничного тона, основанного на чувстве превосходства. Превосходство в понимании тонкостей литературного ремесла у тебя надо мной, несомненно, существует, но это ведь вовсе и не мое ремесло.

Надо удивляться не тому, что у меня получается так посредственно и стереотипно, а тому, что вообще что-то еще получается. И это «что-то», быть может, немного переживет меня и послужит сырьем для тех, кто будет счастливее и талантливее меня.

Засим до свидания. Чего-чего, а уж своих опытов по «работке», вернее, обработке своего колымского опыта, столь, по-твоему, бедного, я тебе не покажу.

Г. Демидов

Чуть не забыл главного. Ты негодуешь на наших писателей, разрабатывающих тему «черных лет» за то, что они «начинают с конца». Ты прав. Это, действительно, – финал, то, о чем пишут. То же, что напечатали, лагерный эпос, это уже финал финалов.

Если говорить обо мне, то я пытаюсь все же раскрыть в какой-то мере подлюю механику «беззакония». За это на меня очень сердчат те, у кого в пуху рыло. Они предпочли бы, если уж нельзя этого изобразить как подвиг, чтобы оно изображалось в туманных, расплывчатых красках, под дурацким условным термином «культ».

К сожалению, люди с рылами, густо облепленными пухом, все еще играют первую скрипку, фальшивя напропалую. И они-то и задают тон во всех областях нашей жизни.

Ты, вероятно, хотел бы, как я, чтобы литература вскрыла социальные и исторические корни эпохи «культа». Здесь есть самый сложный аспект – психологический. Надо быть вторым Достоевским, чтобы осилить его. Но даже Достоевскому понадобилось бы время и гарантия, что тебя не постигнет участь Пастернака раньше, чем ты доведешь начатое до конца.

Но тайного, что бы не стало явным, в истории не бывает.

30 июля 1965, Москва

В. Т. Шаламов – Г. Г. Демидову

Дорогой Георгий, вот с такого письма и надо было начинать, а не с балагурства в вопросах, где никаких шуток не может быть. Есть вещи, где всякие шутки, всякое балагурство противопоказаны, как для эпистолярного стиля, так и казенной литературы.

Такой вопрос – Колыма. Господин Твардовский вздумал побалагурить в «Василии Теркине в аду» и потерпел полный провал. «Запомни и расскажи» – вот все, что требуется, все, о чем идет речь. За непрошенный совет прошу прощения. Я ненавижу литературу.

В. Шаламов.

Ты понимаешь в чем дело, Георгий, ни для кого твои вещи не послужат, если они не будут сделаны, выражены сильнейшим, своеобразнейшим образом. Ни для кого – ни для будущего, ни для современников. Работа над новой прозой как раз и рассчитана на будущее.

Ни с кем я тебя не спутал, ты один из немногих людей на Колыме, которые оказали какое-то сопротивление времени. Но послушай меня, надо написать просто. Я, Георгий Георгиевич Демидов, был привезен на Колыму – остальное даст выстраданность и талант. О лагерях уже написано бесконечно много (в ЦК даже создан специальный отдел, чтоб контролировать эти рукописи). Я смотрел многие из них (в «Новом мире»).

Тут дело таланта. Солженицын, опыт которого очень невелик, поднял наверх именно жадной силой времени.

Я тебе хочу хорошего, а не плохого, и никакого ругательного стиля не позволил бы в ответе старому товарищу. Я ведь сидел в 1929–1931 годах. Зимой 1938/39-го года я был арестован и отвезен в магаданскую тюрьму. Но не расстрелян. После этого восемь лет скитался от больницы до забоя,

в 1943 году – новый срок в десять лет в спецзоне колымской – Джелгале. Затем три года опять больница – прииск. Доходил я много, много раз, и нет на теле у меня места, не отмороженного трижды и четырежды. В 1946 году я лежал в западной больнице, у меня ведь с новым сроком изменилась статья, и смертный приговор приобрел вполне «бытовой характер» – 58–10. С КРТД на фельдшерские курсы не допускали. 58–10 – пожалуйста. Только через два года работы в больнице пришел в норму. Вот тут-то мы и встретились. Так вот из всего этого времени ничего даже похожего на время с декабря 1937 по осень 1938 не было. Вот я почему и решил так напомнить 1938 год, в чем прошу прощения.

Без даты

Г. Г. Демидов – В. Т. Шаламову

Дорогой Варлам!

Поздравляю тебя и твоих друзей с Новым годом. Особый привет Н. Я.⁸ Сообщи мне, если можно, ее почтовый адрес.

Я оставил тетрадь своих рассказов для тебя в Москве. Их до 1-го должна занести М. Н. Будь к ним строг, но справедлив.

Моя встреча с тобой и твоими друзьями, а теперь, наверное, и моими, очень укрепила веру в себя и в смысл продолжения жизни. Вообще-то этого мне здорово недостает.

У нас здесь красивая зима. Это тоже поднимает настроение, хотя мне и жаль вас, москвичей, затоптавших русскую красавицу в слякоть тротуаров и мостовых.

Жму руку.

Г. Д.

⁸ Видимо, Максимова Наталья Борисовна, работавшая медсестрой в Центральной больнице для заключенных в пос. Дебин.

1967

В. Т. Шаламов – Г. Г. Демидову

Дорогой Георгий, вот тебе подарок, книжка Мандельштама. Издание этой книги (первой за сорок лет и теоретической работы редкостного значения и интереса) – событие в истории русской культуры. Надежда Яковлевна шлет тебе привет и вместе со всеми москвичами ждет окончания твоей работы и твоей службы, и твоего жизнеописания. В Москве «Разговор о Данте» продавался два часа. Пиши.

Привет.

В. Ш.

14 августа 1967

Г. Г. Демидов – В. Т. Шаламову

Дорогой Варлам!

В течение одного только месяца ты и Н. Я. порадовали меня дважды. Большое вам спасибо.

Чернокнижники и лжецы сдают свои позиции с наивозможной постепенностью. Отсюда, конечно, и издание не Мандельштама-поэта, а Мандельштама – теоретика литературы. Но Солженицын прав. От веления времени не уйти. В то время как истина вечна, ложь, даже организованная в грандиознейшем масштабе, имеет свой исторический предел.

О многом хочется поговорить. Я думаю, что в ноябре на праздники выберусь в Москву на неделю. Неуверенность, что мною у вас интересуются хотя бы просто как товарищем, у меня исчезла. А вообще в этом отношении у меня обостренная чувствительность. Сказались бесконечные годы отверженности.

В августе кончается мой «отпуск» – временное самоосвобождение от литературной работы. В сентябре продолжу ра-

боту над «жизнеописанием», как ты его назвал. Но, по существу, это некий «синтез» на основе собственной биографии.

Прошу тебя передать прилагаемую записочку и мой низкий поклон Н. Я.

Крепко жму руку.

Что ты думаешь о молчании Максимовой?

Г. Д.

23 августа 1967

Г. Г. Демидов – В. Т. Шаламову

Варлам Тихонович!

Откуда ты взял, что я напрашиваюсь на разговор с тобой по вопросам борьбы в мире «добра» и «зла»? Это ты завел подобный разговор в своем письме с позиций удивления и грусти по поводу того, что ни горький жизненный опыт, ни наставничество людей, более крепких умом и сильных духом, не помогли. И я остаюсь таким иисусиком, верящим в конечную победу доброго и справедливого над жестоким и злым. Сюсюкающим слюняем, не способным понять, что не абстрактные моральные категории движут миром, а реальные, физические в основе, если хотите, факторы.

И все это потому, что в письме к Н. Я. (к Н. Я. – заметь) я, кажется, употребил фразу, смысл которой в том, что хочется верить в конечную победу Правды. Я имел в виду не «Правду-справедливость», а «Правду-истину», т. е. неизбежное восстановление точной информации, несмотря на все попытки дезавуировать ее с помощью самых могущественных средств. И я даже косвенно извинился за применение устаревших, расплывчатых символов.

И снова менторские вздохи по поводу плохой усвояемости подопечного сюсюкалы и невежды. Что это? Прямолиней-

ность восприятия, доводящая его до примитивизма, или абсолютная уверенность в своей роли непогрешимого «ребё»?

Плохо, когда собеседники находятся на слишком различных ступенях способности к пониманию и восприятию. Но еще хуже, когда один из них почитает другого дураком на основе поверхностных и предвзятых представлений. Вряд ли я хуже тебя представляю, что к чему и что почем. Когда-то Михайла Ломоносов говорил, что «... в дураках ходить не токому у Вашего сиятельства, но и у самого Господа Бога не хочу».

Не хочу быть глупее, чем я есть, и я. Угодно со мной разговаривать на равных – извольте. Не угодно – вольному воля. Кто-кто, а уж я-то дотяну как-нибудь до недалекого финиша в одиночку, как тянул бесконечное множество лет.

В свете сказанного хлопотная для меня и связанная с потерей драгоценного времени поездка в Москву в ноябре отпадает.

За пересылку письма Н. Я. благодарю. Ей – неизменный привет и наилучшие пожелания.

Извини резковатый тон. Но я не люблю ни назиданий, ни оценок с высоты абсолютного превосходства. Я в такое не верю. Ни в чье.

Желаю здоровья.

Г.Д.

Эльвира Горюхина

Что с нами действительно случилось?

Ранним утром 20 августа 1980 года в пяти городах по семи адресам произошло изъятие архива писателя Георгия Демидова. Сгорел и дачный сарай, в котором хранились черновики. Уверенный в том, что ни одной строчки на этом свете не осталось, и то, ради чего он поклялся непременно выжить, погибло, писатель погрузился в депрессивное состояние.

– Начался уход Демидова из жизни, – говорит дочь Демидова Валентина Георгиевна.

Месяца за два до смерти он смотрел «Покаяние» Тенгиза Абуладзе. Смотрел трижды. Был потрясен. Ему показалось, что можно сделать попытку вернуть утраченное.

Он умер 19 февраля 1987 года. (Ах, это чертово 19 февраля. В этот день случился первый арест Варлама Шаламова. Шел 1929 год). В июне 1987 года в харьковском доме дочери писателя раздался звонок.

– Вы меня не узнаете? – учтиво вопрошал мужской голос.

– Узнаю, – сказала дочь Демидова, – вы в моем доме вершили обыск.

Звонивший гэбэшник известил Валентину Георгиевну о возвращении архива писателя. А теперь, читатель, внимание: из архива исчезли главы, посвященные Голодомору. Гэбэшник и не скрывал: «С лагерями все ясно, а вот Голодомор...»

Она знала, **кому** обязана этим звонком. Тогдашнему секретарю ЦК Александру Яковлеву. Дело оставалось за «малым» – известить страну о писателе Георгии Демидове. В течение последних трех лет вышли все произведения писателя о российском «Освенциме без печей» (такое определение ГУЛАГу дал Демидов, за что и схлопотал новый срок).

Три книги вышли в издательстве «Возвращение».

Теперь мы знаем: у нас есть не только одно из свидетельств о Колыме. **У нас есть писатель Георгий Демидов.** Путь его к читателю был долгим и драматичным, как и сама судьба. В Москве состоялись **Дни Георгия Демидова.** Один прошел в «Русском зарубежье» – это была презентация третьей книги Демидова «Любовь за колючей проволокой». Совместное мероприятие общества бывших узников ГУЛАГа «Возвращение» и музея Льва Толстого. Второй был посвящен фильму Светланы Бойко «Житие интеллигента Георгия Демидова» (Сахаровский центр).

Это были удивительные дни. Миру возвращено имя писателя.

К счастью, еще живы люди, которые знали его.

Живы те, кто разделил с писателем лагерные муки, и поэтому любой разговор о нем превращался в рассказ и о своей жизни, и о жизни страны.

А ей, дочери Демидова, которая увидела отца в 19 лет и поняла, что это главный человек в ее жизни, все еще кажется, что все происходящее – сон. Вот она проснется и увидит, что ни одна строчка отца не дошла до читателя. К этим двум московским дням она шла четверть века. Чего только не было на этом пути. Помнит встречу с Виталием Коротичем. Результат этой встречи – давний рассказ «Дубарь» напечатан в «Огоньке». Первая и громкая встреча писателя со своим читателем. А дальше – многолетние походы по редакциям. Вердикт: «Стилизация под Толстого». Был и такой: «У нас за ГУЛАГ отвечает Солженицын. За Колыму – Шаламов. Незачем вводить другое имя». В Союзе писателей услышала: «Хватит хаять Россию». Это произнес писательский чиновник, бывший в вохровской службе.

А за **что** у нас отвечают миллионы погибших? Дочь Демидова уверена, что должны быть свидетельства о лагерях, и не важно, в какой форме они выражены. Мы просто не знаем о них.

– Я уверена, в безвестности остались многие талантливые писатели, – говорит Демидова.

Георгия Демидова заметил Ландау. С третьего курса он взял его в свою лабораторию. В то время, когда его сокурсники получали диплом о высшем образовании, физик-экспериментатор Георгий Демидов защищал кандидатскую диссертацию.

Его арестовали по ленинградскому делу физиков.

– В Харькове брали физиков пачками, – говорит дочь.

Четырнадцать лет на общих колымских работах. Четыре раза умирал: падал с одиннадцатиметровой скалы, погибал от четвертой стадии дистрофии.

В начале пятидесятых гэбэшники шныряли по Колыме в поисках физиков для шарашки. И вот там, в московской шарашке, Георгий Демидов трагически осознал, что физик в нем умер. Это было главное дело его жизни.

А дальше – Инта, потом Ухта. Работал на заводе. Он – зам. начальника цеха. Его портрет – среди лучших людей города. Реабилитирован в 1958 году.

Лучший человек города стал объектом пристального внимания КГБ, как только начал писать. Чем закончился для Демидова роман со словом, мы уже знаем.

Презентация третьей книги Георгия Демидова стала мощным четырехчасовым разговором не только о судьбе писателя, но и о судьбе страны. Доминантная тема в этом разговоре – **роль отдельной личности в тоталитарном мире**.

Мариэтта Чудакова, известная своим подвижническим делом – доставляет книги в глухие уголки страны, – отметила сегодняшний большой интерес к литературе, которая отражает сопротивление времени, если воспользоваться определением Варлама Шаламова. Одно время казалось, что был спад читательского интереса к этой литературе. Не случайно на презентации бродило по рядам **обращение общества бывших узников ГУЛАГа** – собрать средства на переиздание хрестоматии для школьников «Есть всюду свет...». Ее авторы – выдающиеся писатели, поэты, многие из которых прошли ГУЛАГ.

Разосланный тираж по России (27 тысяч экземпляров) оказался недостаточным. Об этом пишут учителя, библиотекари.

... Так вот какова мера **сопротивления** человека тоталитаризму, в какой бы форме он ни выступал. И что может противопоставить лагерному слогану «Умри ты сегодня, а я – завтра» человеческая солидарность? Может! Еще и как! Об этом тоже говорили.

...Любовь Ночнова, дочка лагерной сиделицы Марии Ночновой, зачитывала те фрагменты из записок матери, которые имели отношение к Демидову той поры, когда он работал в рентгенкабинете в больнице на Левом берегу. Врачи этой больницы в очередной раз спасли Демидова от смерти.

Из воспоминаний медсестры Марии Ночновой: «Однажды к больнице подъехала крытая машина с людьми. Из кабины выскочил конвоир, зашел в приемный покой, сказал: "У меня в машине больной. Окажите помощь". Врач осмотрел больного и сказал: "Состояние очень тяжелое. Инфаркт. Больной нетранспортабелен. Несите в отделение". Конвоир возразил: "Оставить не могу. Я должен привезти его живым или мертвым". Машина уехала».

Найдите отличие этой ситуации от той, которая случилась на въезде в Институт им. Вишневского. Об этом тоже говорили. Отличие есть – колымские врачи приняли больного и провели обследование. Расползание нравов ГУЛАГа за пределы колючей проволоки – вот чего опасались сидельцы. И это **случилось**.

Как всегда, вспыхнул спор, не утихающий с тех пор, как впервые миру было явлено слово Демидова. Спор о концепции мира в творчестве Шаламова и Демидова. Если вслушаться серьезно в доводы спорящих, становится ясно, что сам спор, как точно заметил Виталий Шенталинский, имеет принципиальное значение. Речь идет в целом о картине мира. Мог ли Демидов вслед за Шаламовым «плюнуть в красоту»? (Заметим, у Шаламова написано: «мог бы»). Да и что стоит за этим «мог бы», если на Колыме «Пруст был дороже сна», если знаменитая фраза Шаламова: «Горизонты словесного искусства раздвинуты этим романом необычайно», – родилась там, «где разучились удивляться». И тут вспомнили Юрия Домбровского «Факультет ненужных ве-

щей», отношение писателя к красоте. Бог ты мой! Какое это чудо – жаркие дебаты сидельцев по поводу любого поворота событий, касается ли это слова в тексте или человеческого поступка. Как вспыхивает Семен Виленский, если кто-нибудь нечаянно бросает неточное слово.

Звоню Кларе Домбровской и спрашиваю: «Это правда, что красота следователя Долидзе каким-то образом действовала на подследственного Домбровского, о чем говорил Шенталинский?»

– Да, – говорит Клара, – ему было жаль ее. Жаль, что так бездарно тратится ее красота.

Открываю книгу: «А мне жаль вас, молодость вашу, свежесть, а, может быть, даже и душу – все жаль!.. Эх, девочка! Куда вы полезли? Кто о вас плакать-то будет?»

Понятно, что **жалость** не главное слово в словаре Варлама Шаламова. Потому что шаламовский словарь прошел великое очищение гневом, которому он служил остатками своих слабеющих сил (из письма Шаламова Борису Лесняку). Его занимали такие явления человеческого духа, которые возникают в условиях, когда человека пытаются превратить в **нечеловека**. Именно отсюда берет свое начало мысль о новой прозе, которая не есть проза документа (как мы полагаем), а проза, **выстраданная, как документ**.

Дочь Демидова запомнила один из походов отца к Шаламову. Спор шел – аж дым коромыслом! «Они оба были высокие. Встали из-за стола. И уперлись, что называется, лбами. Спор шел о том, **как по-новому** писать о **новом** опыте. Уже на улице отец сказал: «Да, это был ужас. Да, предавали, убивали, но и любили, дружили. Мы ведь **жили**. Это была жизнь».

«Полусознательное существование, которому нет формул и которое не может называться жизнью» – это шаламовское определение того состояния, которым была замещена колымская жизнь. Он преодолел это состояние, определив его **формулу** в чеканной прозе. Смысл этой формулы в том, что жизнь своим возвращением обязана **слову**, которое раньше возникает на языке, а потом в мозгу. Летят в северное небо, в двойную зарю слова, которые никакого отношения не име-

ют к лагерному бытию. И что с того, что ты кричишь эти слова, встав на нары. Слово дает ощущение **неба и бесконечности**.

И в который раз все пути расхождения двух писателей обретают некое новое **схождение** в пространстве того, что Демидов называл не правдой-справедливостью, а правдой-истиной. И тогда оказывается, что проза Шаламова и проза Демидова **выстрадали** свое право. Бесконечно прав Борис Лесняк, заметивший в свое время, что у каждого свой лагерный опыт, но даже когда опыт как будто один и тот же, неизбежны разные оценки этого опыта.

Есть высшая правота, которую Шаламов определял как «наше преимущество», – это «ад за нашими плечами». Этот ад – в наших оценках и нравственных требованиях. Вот об этом надо помнить!

Хотите понять особенности поэтики – изучите ад, который за плечами пишущего. Другого ключа к этой литературе нет. И только совокупная, целостная картина ГУЛАГа, где его отдельные звенья кажутся противоречащими друг другу, может приблизить нас к пониманию самого трагического периода нашей истории, эхо которого гулко отдается во всех областях нашей жизни.

... Бизнесмен из Петербурга с тревогой говорил о том, что количество сайтов, проповедующих тоталитарный режим, гораздо больше, чем сайтов, противостоящих тоталитаризму. Петр Филиппов призвал к активности, указав, что, к великому счастью, новые технологии не требуют больших денег. Никто не спорит, что книга – великая вещь, но можно создать интернет-театр.

Кстати сказать, при обществе «Возвращение» существует прекрасный театр. Его актеры – молодые люди. Они инсценируют рассказы Шаламова и другие книги сидельцев. Театр энтузиастов разъезжает по стране и миру, донося Правду-истину. Записан диск по произведениям Демидова.

Была высказана и другая тревога – мы возвращаемся к **дописьменной** эре. Если мы утратим потребность хранить свою историю в книгах, храмах, нас ждет забвение, как это уже было со многими народами.

...От музея Льва Толстого выступал Валерий Москаленко. Прочитав «Дубарь» в «Огоньке», в музее поняли, что традиции Льва Николаевича Толстого живы. Валерий Васильевич многое сделал для того, чтобы во Франции появился увесистый том Демидова на французском языке.

Кульминация первого вечера – это встреча сына Александра Яковлева, Анатолия, с Валентиной Георгиевной. Дочь Демидова низко поклонилась всей семье Яковлева.

Анатолий Александрович начал свое выступление с фразы, которая его ошеломила: «Нельзя навязывать народу чувство вины за прошлое».

– Если нет вины, то и нет долга. Однако вина будет всегда. Всегда будет и долг. Осознание страшной вины за прошлое и страшного долга у Александра Николаевича происходило постоянно. Шло оно по нарастающей со временем. Он знакомился с многочисленными делами, и то, что он сумел сделать, было частью долга. Тот, кто произнес фразу об отсутствии вины, должен в ногах валяться у семьи, где погибли близкие.

Мне остается напомнить, что эту фразу произнес наш бывший президент Владимир Путин.

«Житие интеллигента Георгия Демидова» – так называется документальный фильм Светланы Бойко. Фильм, возможно, неровный, поскольку монтировался по ходу дела – снимался приезд дочери Демидова в Ухту. Но в нем есть главное – та самая тревога, которая никогда не покидала ни Шаламова, ни Демидова, – чего стоили наши страдания и наши жертвы?

Завод, на котором работал Демидов, уже давно стоит. «Здесь есть кто живой?» – спрашивает один из бывших сослуживцев Демидова. Живых на заводе нет. Мертвые станки...

И возник вопрос, возможно, центральный: «Где та точка, когда жизнь превращается в житие?» Одна из выступавших сказала, что это момент, когда камера фиксирует

достаточно известный эпизод из жизни Демидова. Особой проблемой в ГУЛАГе были электрические лампочки. Завозили их с материка. Лампочки были в дефиците. Изобретатель Демидов сумел восстановить рабочее состояние лампочек. Непременное условие – лампочка должна быть целой. Электроламповое производство в условиях ГУЛАГа было запущено. Разного ранга начальники получили награды. Демидову обещано досрочное освобождение. Но вместо освобождения изобретатель получил коробку, в которой был лендлизовский костюм с ботинками. Вот эту-то коробку Демидов и швырнул в президиум со словами: «Чужие обноски не ношу». Полагался расстрел. Его заменили десятью годами. Все-таки изобретение налицо. Поступок яркий, мощный, но, думается мне, что житие физика Демидова складывалось из многих личностных проявлений, чего стоит посланная им телеграмма жене о своей смерти. Когда он понял, что из Колымы ему не выбраться. Хотел оградить свою семью. Надо все-таки помнить, что именно Варлам Шаламов первым применил понятие «житие» к жизни своего лагерного друга. Какая ипостась жития для него была главной? Жизнь, данная потомкам в назидание? Или жизнь мученика, стойко выносящего удары судьбы?

И снова об оппозициях Шаламова и Демидова. Прозвучал отрывок из «Дубаря»: «Я испытывал не горе, а мягкую и светлую печаль. И ещё какое-то высокое чувство, которое, наверно, было ближе всего к чувству благодарности. Благодарности мёртвому ребёнку за напоминание о Жизни и как бы утверждение её в самой смерти». Если это считать за исходный тезис, каков антитезис Шаламова? И еще вопрос: «**Что** это?»

– Это Лев Толстой, изумивший всех своим отношением к смерти сына Ванечки, ребенка-ангела. Лев Толстой, благодаривший Бога и за жизнь, и за смерть ребенка. Лев Толстой, сказавший, что жить надо так, словно в соседней комнате умирает любимый ребенок, – это сказала я. Не сказала, а выкрикнула.

Так вот: Демидов – это не стилизация Толстого, это диводивное – продолжение великой традиции великого писа-

теля в условиях, когда, казалось бы, вся предшествующая литература оказалась перечеркнутой напрочь.

Шаламова, упорно настаивающего на новой прозе, понять можно. На самом деле речь шла не о новых словах и их сочетаниях. Поскольку вспомнить и зафиксировать опыт может каждый. Он речь вел о другом: вспомнить то, что было, это совсем не значит рассказать о **случившемся**. Чтобы что-то **случилось**, надо из случившегося **извлечь опыт**. Так сказал бы философ. И он сказал: «Если бы 37-й год был прошлым, наше настоящее было бы другим». (Мераб Мамардашвили). Вот о чем была боль Шаламова. Он искал слово, извлекающее опыт. Бурная дискуссия закончилась мыслью не об оппозиции Демидов–Шаламов, а попыткой осознать диалогические отношения двух писателей.

Режиссер Светлана Бойко, в опыте которой были и Шаламов, и Демидов, подошла к идее такого фильма.

Так что же мешает нам заглянуть внутрь себя, чтобы та самая история, которая бесконечно длится и никак не может **случиться** в том самом смысле, когда происходит **завершение случившегося?**

У нас есть возможность заново прочитать Шаламова и Демидова. И это тот случай, когда слово поможет преодолеть наш страх, нашу инерцию и нашу душевную лень, благодаря которым призраки прошлого становятся действующими лицами современной истории.

P.S. А ведь в самом деле невозможно понять: «...откуда среди серой, одноцветной человеческой плазмы вдруг вспыхнуло такое яркое, ни на что не похожее чудо» (Юрий Домбровский).

В самом деле, «**откуда**» это чудо?

Эльвира Горюхина

ГУЛАГенная мутация

(О чем Варлам Шаламов спорил
со своим другом и однолагерником)

Это тот случай, когда говорят: «Как жаль, что вас не было с нами».

В Доме Русского зарубежья отмечали 20-летие издательства «Возвращение». Его история когда-нибудь сложится в книгу. Начинается она на грани 1962–63 годов. Истоки ее – в «Колымском товариществе», состоявшем в основном из женщин. И каких! Евгения Гинзбург, Паулина Мясникова, Берта Бабина...

Она, Берта, левая эсерка, была близка к руководству партии эсеров. Дожила до глубокой старости. Назвать ее бабушкой было невозможно. Однажды следователь, вызвавший Берту в военную прокуратуру, предупредил своих коллег, что сейчас придет живая история.

– Бабушка, – обратился следователь, – как вы теперь относитесь к своей бандитской организации?

– А как вы к своей? – осведомилась бывшая эсерка.

Семен Виленский, ставший во главе издательства, говорит, что это были личности, оказывавшие большое влияние на окружающих.

Зарегистрировано общество «Возвращение» в марте 1990 года. Устав разработал племянник Мартова. Согласно уставу общество имело право издавать продукцию за свой счет. Задача была одна – найти деньги. Забегая вперед, скажем – выпущено около 150 книг. Ценнейшие воспоминания сидельцев.

Начинали с книжек, которые имели тираж сорок экземпляров.

Главная забота тех, кто стоял у истоков «Возвращения», – создать хрестоматию для школьников.

– Перевоспитать взрослое население трудно, поэтому наша забота – дети. Вернуть поколениям историческую правду. Воспитать отвращение ко всем формам тоталитаризма, – говорит Семен Виленский.

В нашей стране получить грант на учебное пособие было невозможно. 20 тысяч экземпляров хрестоматии «Есть всюду свет... (Человек в тоталитарном обществе)» появились за счет средств американского сенатора. Книги раздавались, рассылались бесплатно. Горько было сознавать, на чьи деньги издавалась книга. В 1991 году дополнительно изданы 7 тысяч экземпляров. В книге тексты Короленко, Приставкина, Солженицына, Владимова, Керсновской, Шаламова и так далее.

Путь хрестоматии к школьной парте достоин отдельного описания. Достаточно вспомнить подвижничество библиотекаршей Северодвинска, приславших в издательство грузовик.

– Когда мы получили первые отклики на хрестоматию, в душе потеплело, – говорит Виленский.

Однажды Александр Яковлев, беседуя с Семеном Виленским, спросил: «Какие материалы являются наиболее достоверными свидетельствами ГУЛАГа?»

Сиделец Виленский думал недолго: «Стихи», – сказал. Так появился 1000-страничный том «Поэзия узников ГУЛАГа» из яковлевской серии «Россия XX век».

Всех книг перечислить невозможно. Особой гордостью издательства является возвращение из небытия произведений Георгия Демидова, ближайшего друга по Колыме Варлама Шаламова. Одного из тех, кто оказал сопротивление времени.

Они возвращаются – вот доминанта и вечера, и смысла двадцатилетнего существования «Возвращения».

Вспоминали ушедших, кто был душой издательства. Заяру Веселую, дочь писателя Артема Веселого. Время безжалостно уносит тех, кто совсем недавно в этом же Доме Русского зарубежья рассказывал о своем житье-бытье. Вот уже нет и Заяры, человека, живописавшего свое пребывание в Пихтовке

Новосибирской области с таким горьким юмором, от которого содрогалось сердце. А Заяра улыбалась.

С благодарностью говорили об участии в делах издательства «Возвращение» Татьяны Исаевой, внучки Воронского, Инны Борисовой, редактора «Нового мира», и многих других.

Все выступления отличало чувство личной причастности и личной ответственности за все, что происходило в нашей стране.

Послушник Свято-Екатерининского монастыря Виктор возглавляет музей истории монастыря, который в свое время был знаменитой Сухановской тюрьмой, создание которой курировал лично Берия. Спецобъект НКВД № 110 так и называли – тюрьмой Берии.

В миру послушник Виктор закончил мехмат Саратовского университета, работал в ЦАГИ, учился на вечерних курсах рисования в Суриковском.

Судьба привела его в монастырь, где в замурованных подвалах хранились кости, пересыпанные известкой, а врачи существовали только затем, чтобы зафиксировать время смерти узника.

– Ребятки, как бы не случилось, что однажды вы так же поведете нас на заклание, – говорит Виктор учащимся местной школы милиции, когда они приходят на экскурсию.

– Нет, нет, – говорят мальчики, впервые услышавшие трагическую историю монастыря, – с нами этого не случится.

«Дай-то Бог!» – думает Виктор.

Историю добывания сведений о Сухановской тюрьме поведала Лидия Головкова. Поначалу у нее был только один свидетель – Семен Виленский, – и ни одного документа. Теперь мы имеем книгу о Сухановской тюрьме. И знаем цену каждой строчки этой книги.

Мариэтта Чудакова, много сделавшая для распространения книг издательства, говорила о сидельцах как о людях ПОСТУПКА и о девальвации этого понятия в современном обществе.

– Назовите хотя бы одного защищенного человека в нашем мире.

Нравственный смысл свидетельств сидельцев – мощный воспитательный резерв.

Случился спор между Виленским и Чудаковой. Мариэтта Омаровна предложила людям объединиться в отдельные группы и наметить кого-нибудь из олигархов. Ведь в одной Москве их свыше ста. Попросить их дать деньги на издание книг.

– Никогда! – сказал сиделец Семен Виленский.

У него, сидевшего в Сухановской тюрьме и на Колыме, есть свой счет. Он никогда не забудет, как на бесплатных книгах красовалась фамилия американского сенатора. Он испытал благодарность и одновременно боль. Эта боль саднит до сих пор.

Вечер, длившийся три часа без перерыва, был объявлен завершённым.

И тут случилось нечто, чего никто не ожидал. Первым вышел к сцене Юрий Фидельгольц. Его взяли с первого курса ГИТИСа. Он был на тяжелейших работах, последствия которых ощущает и сейчас. Работал там, где просеивалась руда. Лагерь Аляскитовый. Здесь добывался вольфрам.

Так же, как и Шаламов, Юрий Львович считает, что лагерь – это не опыт. А наказание. И если меняется масштаб видения, то ты за это платишь тем, что Колыма навечно с тобой.

Вот он и сказал: «Дайте слово сидельцам». Старый сиделец Владимир Муравьев (муж Заяры Веселой) говорить не стал. Но я все-таки спросила его о главном лагерном впечатлении: «Можно жить и в лагере», – сказал с грустной усмешкой.

А люди все шли со своими разговорами.

Камиль Казаев – архитектор.

По проекту Эрнста Неизвестного создавал монумент – Маску Скорби – на Колыме. Денег на оплату рабочим не было. И тогда дети репрессированных бесплатно работали месяцами.

Сам архитектор размышлял, какой должен быть номер у скульптурного зека? И понял – это должен быть ничейный номер. А значит – принадлежащий каждому.

...Шла депутация из Риги. Вручен диплом «Возвращению» с благодарностью за сохранение исторической памяти. Диплом подписан мэром Риги.

...Шли молодые, организовавшие сайт Шаламов.ru.

Казалось, что поток нескончаем. Это действительно было так.

Главное ощущение вечера: опыт сидельцев – это не только проблема исторической памяти. Это проблема нашего сегодняшнего состояния.

Они к нам возвращаются.

«Новая Газета», «Правда ГУЛАГА»,
выпуск № 36 от 6 апреля 2011 г.
www.novayagazeta.ru/apps/gulag/6392.html

Георгий Демидов

Оборванный дуэт

Пересыльная тюрьма, одна из самых старых на сибирском каторжном тракте, верой и правдой служила Российскому отечеству вот уже около двух веков. Но теперь этот старинный, выбеленный известкой «замок», с его круглыми, угловатыми башенками и прочими романтическими излишествами, и отдаленно не соответствовал возросшим потребностям новой эпохи. Сохраняя прежние масштабы, он не мог бы вместить и десятой части многотысячных этапов, непрерывно следовавших дальше на восток. И это при самом прогрессивном взгляде тюремного начальства на допустимую плотность населения пересылки и условия содержания в ней этапников.

Поэтому она срочно расширялась за счет строительства новых корпусов. В их архитектуре ветхозаветной тюремной романтики не было и в помине. Образуя целые улицы, четырехэтажные кирпичные коробки стояли в ряд среди грязи и неубранного строительного мусора. Навешенные на все их окна железные «ежовские намордники» делали и без того унылые фасады тюремных зданий похожими на лица слепцов в темных квадратных очках.

В большой камере третьего этажа одного из таких корпусов было тесно и шумно. В нее, как и во все другие камеры этого корпуса, заталкивали новых «постояльцев». Но и для старых места на сплошных трехъярусных нарах тут давно не хватало. Люди лежали не только на полу под нарами, но и в проходе между нарами и стеной. В последние недели формирование этапов для дальнейшего следования почему-то задерживалось, хотя набитые арестантами эшелоны из центральных районов Союза прибывали сюда каждый день. Политическое руководство страны во главе с гениальным Сталиным полагало, что уничтожение на корню потенциальной «пятой колонны»

куда важнее для дела обороны, чем сохранение опытных кадров и укрепление границ.

Шла обычная толкотня, ссоры и даже драки из-за места. Но только на полу и двух нижних ярусах нар. На третьем ярусе, хотя здесь было еще довольно просторно, ни шума, ни свалки не было, так как никто из новоприбывших никаких претензий на эти места не предъявлял. У всех уже хватало тюремного и этапного опыта, чтобы с первого взгляда распознать, что на верхних нарах тут, как и всюду в пересыльных тюрьмах, безраздельно господствует блатная хевра. А это значило, что доступ на привилегированный «бельэтаж» всяким «штымпам» и «фраерам» закрыт, во всяком случае без позволения хозяев яруса, получить которое удастся очень немногим и в крайне редких случаях. А так как очередное пополнение камеры состояло почти сплошь из одних фраеров – «контриков», то никто не сделал даже попытки занять место на «аристократическом этаже». Такая попытка могла бы стоить зубов, выбитых ударом каблука.

Тюремные шайки уголовников, бывшие как бы низовыми ячейками всеобщей воровской корпорации, возникали почти мгновенно, как только блатных набиралась хотя бы десятая, а то и двадцатая часть населения камеры, этапного вагона или пароходного трюма. Их сила заключалась в спайке, организованности и солидности. Полнейшая разобщенность и трусливое благоразумие фраеров, привитое добропорядочным принципом невмешательства в чужие дела, делала их совершенно безоружными перед воровскими объединениями. Поэтому если и случалось иногда, что какой-нибудь одиночка восставал против засилья уголовников, то он обычно оставался безо всякой поддержки. Два-три бандита на глазах у полусотни отводящих глаза фраеров, избивали и дочиста обирали строптивного, чтобы затем, уже без намека на сопротивление, обирать остальных. И всех их «загонять под нары» и в переносном, и в самом прямом смысле – принцип, тысячелетиями проверенный в масштабе целых народов и государств.

Для незнакомого с нравами и обстановкой тюрьмы могло бы показаться, что население верхних нар относится

с полным равнодушием как к происходящему внизу, так и к самим новоприбывшим. Большинство блатных с безразличным видом продолжали лежать на своих местах. Несколько человек, сомкнувшись в тесный кружок в дальнем углу полатей, «чесали бороду королю», т. е. резались в самодельные карты. Однако опытный глаз сразу приметил бы двух человек, сидящих на самом краю верхних нар и цепкими, воровскими взглядами скользящих по каждому из новоприбывших. Это был дозор, выставленный камерной хеврой для определения возможностей поживы за счет новых сокамерников. Сейчас было самое удобное время заприметить у вислоухих фраеров их «заначки», у кого они есть, и содержимое их сидоров.

Впечатление у дозорных от большинства этапников складывалось пока неважное. Почти все они принадлежали к разряду «рогатиков», уже успевших побывать в лагерях и одетых в драные бушлаты и арестантские шапки-«ежовки». Лишь у немногих в руках были грязные узелки с остатками недоеденной этапной пайки. Остальные съедали хлеб, выданный на два-три дня, почти сразу. Не очень отличались от них и штымпы, едущие прямо из тюрем. Обычно они до нитки были ободраны камерными и этапными грабителями.

Исключение составлял только один заключенный, умудрившийся, по-видимому, просидеть до этапа в тюремной камере и ехать в вагоне, в которых не было организованной воровской фракции. В измятом, когда-то щегольском пальто, в фетровой шляпе, с большим узлом в руке, он стоял у входа в камеру, не делая попытки пройти дальше и не принимая участия в дележе мест. Новичок резко выделялся среди своих соэтапников не только одеждой, но и лицом. Несмотря на недельную щетину, бледность и нездоровую одутловатость, с которой неизбежно связано сидение в тюрьме, оно отличалось мягкой интеллигентностью, тонкостью черт и какой-то необыкновенной выразительностью. Эту выразительность придавали ему большие печальные глаза, с тоскливым испугом глядевшие на происходившую возню. Он казался совершенно растерянным и беспомощным, как интеллигентная барышня, попавшая в базарную свалку.

По блатняцкой классификации, это был, несомненно, «бобер», сулящий верную и богатую поживу. Все, кто знал нравы тюрем, не сомневались, что пальто, костюм и ботинки бобра уже поставлены «на кон» в карточной игре, которая идет сейчас в углу верхних нар. И что проигравший вот-вот свесится с этих нар и предложит вновь прибывшему сию же минуту снять вещи в обмен на какую-нибудь лагерную рвань. Если же фраер по неопытности запротестует, грабитель будет скорее удивлен, чем рассержен или возмущен: «Да ты что, падло, думаешь, что я из-за тебя под нож встану?» И никакого преувеличения или сгущения красок в этих словах не будет – хевра беспощадна к неплательщикам карточных долгов.

Однако утверждать, что ее пристальное внимание к каждому новому обитателю камеры всегда объясняется чисто грабительскими интересами, было бы не совсем верно. Случается, что главное внимание блатных сосредоточивается не на вещах иного фраера, а на его внешнем облике. И, притом, на предмет предварительного определения степени его интеллигентности. Это бывает, когда общество камерных «аристократов» нуждается в рассказчике интересных историй – «тискале».

Наверное, не будет большим преувеличением утверждать, что для большинства профессиональных уголовников того времени, о котором сейчас идет речь, потребность в слушании всякого фантастического вранья была на втором месте после потребности в пище. Конечно, если исключить тягу к недоступным в тюрьме наркотикам и выпивке. Блатные могли слушать приключенческий вздор ночами напролет изо дня в день.

Выше всего другого ценились нескончаемые истории о сыщиках, уголовные романы, «Приключения Рокамболя» и тому подобная литература. После этого шли повести таких популярных авторов, как Бусенар, Майн Рид, Густав Эмар, капитан Мариэт. Жюль-Верн ценился немного ниже, а рассказы Чехова, Куприна или Мопассана были едва терпимы, не говоря уж о Толстом или Горьком. Да и то при условии, что ничего другого рассказчик припомнить уже не мог. Но это значило также, что этот рассказчик плох. Главным достоинством настоящего камерного тискалы

считалась его неистощимость по части плетения невероятных приключений. Манера рассказчика, выразительность его языка, дикция и прочие достоинства речи ставились на второе место. Что же касается правдоподобности и элементарной логической связанности повествования, то они и вовсе не имели значения.

Лучшие тискалы находились среди самих уголовников. Среди них встречались такие, которые могли нанизывать немыслимые истории одну на другую буквально целыми неделями. Это были вдохновенные импровизаторы, барды и романтики уголовщины, обычно совсем еще молодые. Большинство таких занималось своим изустным творчеством не столько для камерной аудитории, сколько для самих себя. Спасаясь от напора неприглядной действительности, они цеплялись за иллюзорный мир благородных бандитов, гениальных воров и обольстительных марух. Когда-то прочитанная или от кого-то услышанная галиматья перерабатывалась, дополнялась и сочеталась в темных головах рассказчиков подчас самым фантастическим образом. Какая-нибудь Сонька – Золотая Ручка, легендарная одесская воровка, силой их буйного воображения переносилась в бретгартовскую Калифорнию, а Рокмболь после взрыва в Таузере оказывался где-нибудь в Костроме и метался по всей России, спасаясь от преследования царской полиции. И вся эта чушь воспринималась невзыскательными слушателями с неизменной благодарностью и восхищением.

Но такой тип присяжного тискалы был для камерной хевры весьма редкой удачей. Как правило, она не могла выделить из своей среды не только талантливую, но и рядовую рассказчика. Поэтому тискалы обычно вербовались среди более или менее начитанных фраеров. Среди них нередко встречались и хорошо образованные представители гуманитарных профессий, бывшие адвокаты, журналисты, режиссеры. Эти вдохновлялись отнюдь не самим творчеством тюремного повествователя, хотя некоторые «наблатыкивались» в нем почти до профессионального уровня. Их привлекали подачки хевры и, связанное с ее дружбой, значительное облегчение тюремной жизни. И угодливые интеллигенты мобилизовывали свою начи-

танность, память, профессиональные знания и другие качества для выполнения «социального заказа» нового типа. Благо для многих из советских гуманитариев было к этому не привыкать. Главными достоинствами тискалы были память на прочитанную когда-то чепуху и способность к беззастенчивой компиляции. Иначе ему грозило быстрое истощение и разжалование.

Это случалось очень часто с немолодыми уже фраерами, учившимися еще в дореволюционных гимназиях. Почти все они воздали в свое время усердную дань пятачковым изданиям в ярких обложках и со жгучим продолжением. Мамины пятаки, выданные на школьные завтраки и сэкономленные для приобретения желтых книжечек с изображением на обложках бандитов в масках, окупались теперь для некоторых весьма неожиданным образом. Даже не очень удачным тискалам хевра гарантировала неприкосновенность их имущества, предоставляла место на своем ярусе, а иногда даже их подкармливала. Чаще всего, однако, это продолжалось недолго. Рассказчик быстро выдыхался и изгонялся с аристократического бельэтажа обратно к штыпам.

Такая же судьба постигла и последнего из камерных тискал, бывшего преподавателя языка и литературы в средней школе. Этому, казалось бы, и карты в руки. Однако пожилой учитель за два вечера израсходовал все, что мог припомнить из читанных в детстве рассказов про сыщиков и воров. На третий день он начал сбиваться на какие-то повести Белкина, а потом и на тургеневские «Записки охотника». Стало ясно, что и этот не оправдал надежд и надо подыскивать нового. Высматривать подходящего кандидата на вакантную должность, покамест, конечно, только на основе их внешних данных, и поручалось дозорным, выставленным для встречи очередной партии новоприбывших. Сейчас на вахте находились два старых блатных по прозвищу «Москва» и «Покойник».

Бобер в шляпе, новых желтых «колесах» и роскошном «клифте» был ими, конечно, замечен и взят на учет как объект возможного ограбления и как кандидат в тискалы. Притом единственный, так как все его создапники были, несомненно, серыми штыпами, безнадежными

в этом смысле. Но второе исключало первое, бесполезно обращаться с просьбой об услуге, да еще требующей усердия и вдохновения, к человеку, тобой же ограбленному. Но в то время как вещи этого человека представляли несомненную ценность, его способности рассказчика оставались пока только предположительными. Тем более что по своему возрасту фраер принадлежал к советской генерации интеллигентов. Такие относились блатными ко второму сорту тискал уже потому, что, как правило, ничего не знали ни о Пинкертоне, ни о Картере, ни даже о Рокамболе. Однако некоторые из них неплохо пересказывали бесчисленные советские повести «про шпионов», знали рассказы о Шерлоке Холмсе и приключенческую литературу.

Проще всего, конечно, пригласить фраера наверх и предложить ему припомнить что-нибудь интересное из прочитанного. Такие фраера читали много, хотя и не всегда то, что стоит траты времени, с точки зрения людей, понимающих в этом деле толк. Если он откажется, то все будет весьма просто, хевра по отношению к такому никаких обязательств не несет. Но он может принять предложение и оказаться занудой, который понесет что-нибудь про пресную и канительную фраерскую любовь. Один такой весь вечер читал нудные стихи про Евгения Онегина и всех усыпил. Однако «сдрючивать» с него колеса и клифт было потом неудобно. Так их на нем и оставили. Но на том были шмутки так себе. Тут же хевра рисковала упустить редкую удачу по части поживы, если рекомендовать ей взять этого фраера на испытание. Если же поставить эту поживу впереди запросов блатняцкой души, то существует риск упустить хорошего рассказчика, может быть, даже самого писателя «про шпионов», — сейчас на этапах попадают и такие. И в обоих случаях Старик, руководитель камерной хевры, непременно начистит неудачливым физиономистам зубы.

Конечно, есть еще и такая возможность: фраера не трогать, но и наверх его не приглашать. Настоящий тискал может проявить свои способности даже под нарами, среди тупых и унылых штымпов. Надежда на это, однако, плоха. А главное, любого здесь могут вызвать на этап и через

пару часов после его появления в камере. И тогда богатого фраера облупит уже какая-нибудь другая хевра.

Дозорные ломали головы, пытливо всматриваясь в лицо человека, понуро стоявшего со своим узлом возле самой двери и не замечавшего их пристальных взглядов. Вдруг Москва подался всем корпусом вперед, оттолкнув товарища локтем, как будто тот мешал его наблюдениям, и буквально впился глазами в лицо фраера у двери.

– Он! – скорее прохрипел, чем прошептал, блатной, ударив себя кулаком по колену. Москва отличался экспансивностью и избыточной темпераментностью.

– Он, свободы не видать!

– Кто «он»? – удивленно спросил Покойник.

– Помнишь, как в позапрошлом в С-ке были?

– Ну, были...

– А афиши, что там расклеены были, помнишь?

– Ну...

Москва приставил губы к самому уху приятеля и что-то ему прошептал, трахнув его для вящей убедительности ладонью между лопаток:

– Он, я тебе говорю!

Однако более флегматичный и, по-видимому, склонный к скептицизму Покойник некоторое время недоверчиво смотрел на «шляпу», потом махнул рукой:

– Заливаешь... Тот старый был!

– А этот что, молодой? Поди уже тридцать гавкнуло...

В преступном мире, где люди живут очень мало, человек в тридцать лет считается уже пожилым, а в сорок именуется обычно «стариком».

– Да и руль у него не такой...

– Разуй шары. На руль отсюда смотреть надо!

– А ты еще из-под нар посмотри...

– О чем толковище? – позади спорящих неожиданно появился Старик.

Те наперебой стали объяснять ему причину спора, и каждый, конечно, старался доказать «главному блатному» камеры свою правоту. Особенно горячился Москва. Стараясь не сорваться на крик, – предмет спора не должен был этого спора слышать – он отчаянно сквернословил и жестикулировал. Среди его невнятного бормотания

разобрать можно было только неизбежные блатняцкие клятвы, вроде «б... буду!» и «свободы не видать!» Привлеченные спором, на краю нар по-обезьяньи сгрудились еще несколько блатных. И все пялили глаза на пока еще ничего не замечающего фраера с узлом. Старик – морщинистый, немолодой уголовник – тоже смотрел, но, как и полагается старшему, в спор не вмешивался, хотя Москва и Покойник начали уже хватать друг друга за грудки.

– Свистни-ка¹ фрею, Москва! – изрек он наконец, когда дело дошло почти уже до драки. – Только с подходом, гляди...

Тот свесился с нар и обратился к «фрею» с необычной для тюрьмы вежливостью, «подходом»:

– Можно вас на минуточку, гражданин?

Молодой человек поднял голову и увидел обращенное к нему небритое лицо уголовника, манившего его пальцем. От вежливой улыбки, которую постарался скорчить Москва, его довольно-таки дегенеративная физиономия сделалась еще более пугающей. Рядом с ней на новичка тарачился еще добрый десяток пар глаз на таких же лицах. Фрей в шляпе решил, конечно, что это шайка, которая сейчас начнет его грабить, и испуганно попятился назад.

Москва, держась за столб, свесился с нар еще больше:

– У меня к вам вопросик, гражданин. Вы, случайно, не артист будете?

Теперь к выражению испуга на лице спрошенного добавилось еще и удивление:

– Да, я артист... А что?

Москва радостно оскаблился и, обернувшись к Покойнику, спросил:

– Слышал, фраер?

Тот, однако, не сдавался:

– Может фрей косит? – и довольно грубо сам спросил у артиста: – Из какого города будешь?

– Я пел в с-ском оперном театре...

– Точно! – завопил Москва. – Заткнись падло! – вскочив на нарах, он так пнул Покойника ногой, что тот едва с них не слетел. – Все это фарт! Свисти человека сюда, Старик!

¹ «Свистни» – значит «позови».

Положение обязывает, и поэтому патриарх хевры был сдержаннее других. В его камеру попал оперный певец. По-видимому, это был действительно фарт, хотя и не столь уж большой, умелый рассказчик был бы предпочтительнее. Старик жил в городах и знал, что в оперу абы кого петь не возьмут. Правда, говорили, что поют там как-то по-особенному, так что не всякий и слушать станет. Но фраер, наверное, умеет петь и другие песни, кроме оперных. Во всякой другой тюрьме это его умение было бы ни к чему, там здорово не распоешься. Но тут пересылка. В пересыльных тюрьмах вообще «слабина» по сравнению с режимными и следственными, а сейчас и подавно. Камеры переполнены, и уследить за порядком легавые не могут. Пожалуй, сгодится и певец.

– Ну-ка, Артист, – сказал Старик подумав, – лезай к нам!

К растерянному стоявшему внизу человеку протянулось несколько рук. Он все еще не понимал, что же, собственно, сейчас происходит. Но одно было для него уже ясно – эти люди не только не собираются его обижать, но и приглашают к себе с неподдельным радушием. И делают это, по-видимому, потому, что знают его как представителя искусства.

Это было непостижимо, но трогательно. Воры и бандиты в грязной сибирской пересылке узнали певца из провинциальной оперы и хлопчут вокруг него с радостным оживлением. Артистическое тщеславие брало верх даже над недоумением и растерянностью. Его красивое лицо порозовело сквозь жухловатую тюремную бледность. Служителя Искусства всегда радуют проявления его силы. Тут же сила Искусства проявлялась при почти неправдоподобных обстоятельствах.

Артиста посадили на одно из лучших мест, у самого окна, которое занимал до него разжалованный тискала.

– Снимай клифт, тут у нас «ташкент»! – сказал ему один из хозяев нар.

– Да не бойся, – добавил другой, – тут у тебя ничего не пропадет!

Больше всех суетился Москва, чувствовавший себя кем-то вроде первооткрывателя клада.

– Как вы меня узнали? – спросил его артист.

– По портрету на афишах, – с готовностью объяснил тот. – Я в С-ске бывал, ширмачил там. Ну и видел, как вы с этих афиш смотрите... – Москва повернулся в свой курносый профиль и слегка вскинул заросший подбородок. – А этот штымп, – он ткнул кулаком Покойника, – гундосит еще: «руль не такой». Вот как дам по рулю!

– А как твоя фамилия? – спросил Старик.

Ему это нужно было для сведения, но отнюдь не для пользования. В блатном мире без особой необходимости никого не принято называть по фамилии, даже чужих. Предпочитают прозвища, они куда выразительнее и содержательнее. Для нового обитателя камерного бельэтажа прозвище напрашивалось само собой – Артист.

– Званцев, – ответил тот на вопрос Старика.

– Точно! – закричал Москва. – Теперь вспомнил, вот такими буквами было написано... – жестом хвастливого рыболова он развел руки, показывая, какими буквами была написана фамилия Артиста на афишах, – Сурен Званцев.

Без шляпы, пальто и кашне, с оболваненной под машинку головой, сейчас он отличался от окружающих уже менее резко. Званцев сидел на своем почетном месте с кружкой кипятка в одной руке и куском хлеба в другой. Угощал Артиста все тот же Москва. Суетливый блатной громко рекламировал свою находку:

– Фраера в С-ске за вход в театр по шесть диконов барыгам платили, когда там Артист пел...

Только Покойник знал, что Москва крепко привирает на правах очевидца и героя дня. Но он теперь помалкивал. Скорый на руку приятель мог и в самом деле двинуть его по «рулю».

Теперь для Званцева было уже ясно, как его здесь узнали. Но никто из окружающих никогда не слышал его исполнения. И вряд ли кто-нибудь из них мог что-нибудь в этом понимать. Артист был отличным певцом и знал это. Он и в самом деле был известен и за пределами своего С-ска, случалось пел и в Москве, и его мечта о Большом театре вовсе не казалась ему несбыточной. В камерах с-ской тюрьмы он встречал немало высококультурных людей, много раз слышавших его в опере и ценивших его редкий голос. Но все они относились к нему просто как

к товарищу по несчастью. Эти же уголовники – так близко Званцев видел их впервые в жизни, – люди явно грубые и малокультурные, устроили ему едва ли не почетную встречу. Сначала ошеломленный артист принял это за подобие того, что проявляли к своим кумирам московские «лемешистки» или «козлистки». Но теперь, когда его мысли пришли в некоторый порядок, он понял, что этого быть не может. Недоразумение? Но какое?

А происходило действительно недоразумение. Блатные были уверены, что всякий профессиональный певец, а тем более такой, о выступлении которого объявляется аршинными буквами, может спеть все, что поется. Они с нетерпением ждали, когда Артист доест свой хлеб. И когда он поставил на подоконник пустую кружку, сразу же попросили его что-нибудь спеть. Званцев удивился, разве в тюрьме можно петь? В с-ской тюрьме за попытку петь даже вполголоса угрожал карцер.

Теперь удивленно переглянулись его хозяева. Вот так фраер! А для чего бы его здесь так охаживали? Оставили при нем его шумтки, посадили на верхние нары, даже покормили. Выходит, он думал, что это просто так, за его красивые глаза... Ничего этого Артисту пока не сказали, но объяснили, что тут не городская тюрьма. От поверки до отбоя можно шуметь сколько угодно. Пой песни, хоть тресни, только есть не проси...

Это было приятное известие, хотя оно до конца и вполне прозаически объясняло все недоумения Званцева. Его пригласили на эти нары и даже поделились с ним хлебом вовсе не из абстрактного уважения к Искусству. Эти люди хотят держать его здесь в качестве своего придворного певца. Что ж, это даже хорошо. Уже больше года как он не пробовал свой голос, и тоска по этой возможности была временами едва ли не сильнее всякой другой. К радости добавлялось смущение, напоминавшее то, которое Званцев испытывал в уже далекие времена дебюта. Он ощущал сейчас смешной и почти приятный страх, а что как он пустит перед этой почтенной публикой «петуха»? Артист откашлялся, приложив к горлу концы пальцев. Там казался застрявшим только что съеденный хлеб. Но публика смотрела на него хотя и выжидающе, но вполне благоже-

лательно. Небритые рожи уголовников казались теперь почти нестрашными, не то что полчаса назад, когда он увидел их столпившимися на краю нар.

Артист произвольным жестом взъерошил отсутствующие волосы и обвел окружающих повеселевшим взглядом:

– И что же вам спеть?

Вот это был деловой вопрос! Со всех сторон посыпались заявки. Несколько человек требовали, чтобы Званцев спел популярную в лагерях блатняцкую песню «Любил жулик проститутку», очень сентиментальную и жалостную. Другие предпочитали более старинную «Где купца обуешь в лапти, где прихватишь мужика», «Солнце всходит и заходит!» – кричал кто-то из угла. И даже из толпы фраеров внизу неуверенно крикнули: «"Катюшу"!»

Недоразумение, оказывается, продолжалось. И опять с обеих сторон. Потомственный интеллигент и музыкант Званцев никогда не думал прежде, что можно жить на свете и не иметь даже отдаленного представления о делении вокального искусства на жанры и специализации самих вокалистов. Безмерное музыкальное невежество своей публики и ее невероятные требования Артист воспринял почти с испугом. Выражение радостной готовности на его лице сменилось растерянностью и смущением.

– Я... Я этого не могу... Я оперный певец, понимаете? А этих песен даже не слышал никогда.

Физиономии блатных разочарованно вытянулись. Так вот оно как, оказывается! Этот хваленый певец даже не знает песен, которые знают в тюрьме все.

– Да он темнила! – крикнул кто-то.

– Так ты ни одной хорошей песни не знаешь? – угрожающе спросил Старик.

– Хорошей? – растерянно переспросил Званцев. – Я не эстрадник, понимаете. Я знаю только оперный репертуар...

– Это когда стоят вот так и тянут, будто блеют, ме-е-е... бе-е-е... Или верещат, как будто им на хвост наступили... – испитой, желчный блатной, расставив руки и перекосив небритую физиономию, показывал, как держатся на сцене оперные певцы.

– А ты видел? – накинулся на него Москва. Он не мог присоединиться к возмущению других несостоятельно-стью Артиста, так как отвечал за него.

– Видел! – ответил тот. – Я в харьковскую оперу ходил, в раздевалке там щипачил... Легче легавому арапа запустить, чем всю оперу прослушать!

Настроение экспансивной и раздражительной публики из благожелательного быстро переходило в злое.

– Вот так фраернулись! – возмущался кто-то.

– Это все Москва! – не преминул ввернуть Покойник. – Вон чего загнул, по шесть диконов давали! – он наступал на приятеля, помахивая кистями рук, поднятыми на уровень головы, как вислыми ушами. – Ну, кто штымп?

Возмущенный галдеж быстро нарастал.

– Гони фраера под нары! – требовало несколько голосов.

Какой-то блатной, до сих пор угрюмо молчавший, вылез из своего угла и с угрожающим видом подошел к другому:

– А ну, сдрючивай шмутки с фрея!

Этот блатной успел выиграть в карты вещи Званцева еще до того, как его пригласили наверх. И теперь требовал выполнения условий игры. Кое-кто предлагал начистить зубы Москве, как главному виновнику конфуза.

– Да что вы, падлы! – защищался тот. – Артист наших песен не умеет петь, а свои-то он может... Я ж говорю, фраера в С-ске из-за него в драку лезли, свободы не видать!

– Так и пускай катится к своим фраерам! – крикнул тот, который выиграл вещи Артиста.

– А ну, скидай клифт, падло!

– Ме-е-е... бе-е-е... – блял знаток оперных спектаклей.

– А ну, ша! – прервал галдеж Старик. – Я тоже эту оперу по радио слыхал... Если выключить нельзя, калган от нее трещит. Но кое-что слушать можно... А ну, спой что-нибудь! – приказал он Званцеву. – Что хочешь спой. Хоть из этой своей оперы, если уж ничего лучше не умеешь.

На лице Артиста появилось выражение обиды и боли. Серый от бледности, он сидел понурясь, готовый, кажется, вот-вот заплакать. Но затем он сделал над собой усилие и поднял голову. Теперь его лицо выражало уже решимость, а глаза глядели куда-то сквозь своих недоброже-

лательных экзаменаторов. Вряд ли, даже при недюжинных способностях, человек может стать артистом, если не научится владеть собой в решающие моменты. Недоброжелательность публики является тягчайшим испытанием. Прежде Званцеву всегда удавалось ее преодолевать. Может быть, удастся и теперь.

– Я спою вам арию приговоренного к смерти...

– В смертнячке оно в самый раз петь... – хохотнул кто-то.

– Ша! – цыкнул на него Старик.

Званцев откашлялся и немного помолчал с прежним отрешенным выражением на напряженно застывшем лице. Было заметно еще, что он к чему-то как будто прислушивается. Но лишь немногие догадались, что это Артист воображает оркестровое или фортепьянное вступление. Затем он слегка откинул голову и запел арию Каварадоси из пуччиниевской «Тоски».

Враждебный прием, отсутствие аккомпанемента, отвратительная акустика камеры, сверху донизу набитой людьми, все это никак не способствовало возможностям вокального исполнения, да еще после такого длительного перерыва в пении, на которое обрек Званцева его арест. Но голос певца звучал неуверенно и чуть-чуть хрипло только в самом начале арии. Затем он быстро окреп под влиянием нахлынувшего на него чувства. Это было ощущение почти полного соответствия внутреннего состояния исполнителя арии переживаниям своего героя. Не было больше серого этапника, заключенного сталинской тюрьмы. Был узник Римской цитадели, мятежный граф Каварадоси, встречающий последний в жизни рассвет. Его тоска по жизни, такой еще молодой и яркой, по любимой Флории, по славе возможного, но не состоявшегося победителя, была тоской и самого певца. Не наигранной, сценической тоской оперного артиста, а настоящей душевной мукой человека, у которого его жизнь в Искусстве, личное счастье, почти уже достигнутая заслуженная известность, – все рухнуло, все навсегда осталось по ту сторону тюремной стены.

Освобожденный от балласта неуверенности, смущения и робости, вырвался на свободу сильный драматический тенор Званцева. И взмыл в красивом полете, как будто

раздвинув стены грязной, вонючей камеры. Голос певца легко поднимался до самых высоких теноровых нот и также легко падал в глубины баритонального регистра.

Сдержанную муку мужественного узника в каменном мешке смертной камеры Артист выражал сейчас перед кучкой грубых и невежественных уголовников с такой глубиной и силой, которая никогда еще не удавалась ему на оперной сцене, хотя его тонкой натуре дар воплощения был отпущен не в меньше мере, чем дар певца.

О своих слушателях Званцев забыл и не мог видеть происходившей с ними метаморфозы. Сначала злость и пренебрежение сменились на их лицах удивлением. Никто из блатных никогда не слышал еще такого сильного и чистого голоса. А затем их начало захватывать чувство, вложенное в исполнение трагической арии заключенным певцом. На лицах самых грубых, даже того, который выиграл вещи Званцева, появилось печальное и задумчивое выражение. Более сдержанный, чем другие, Старик, сначала слушавший Званцева с пренебрежением предвзятого экзаменатора, задумался и опустил голову. Уж кто другой здесь, а он-то знал, что такое тоска смертной камеры. И почти не понимая слов арии, чувствовал, как в самую душу к нему проникают ее рыдающие звуки. Москва преданно смотрел на певца с выражением неподдельного восторга на своей свирепой физиономии, ведь успех Артиста был и его успехом. Темпераментный блатной делал в воздухе жесты руками и шевелил губами, только с трудом, видимо, удерживаясь от восклицаний. Впрочем, к концу арии перестал дергаться и он. Все слушали, не проронив ни звука, почти затаив дыхание. Затихли внизу даже вечно бубнящие штымпы.

Певец умолк и машинальным жестом откинул со лба несуществующие волосы. Он стал, если это возможно, еще бледнее. Но теперь тон его бледности сделался как будто иным, более светлым. Хотя, вероятно, так только казалось из-за темного блеска глаз Артиста...

С минуту его слушатели сидели неподвижно и молча. Кое-кто украдкой смахивал слезы. Грубость и жестокость профессиональных уголовников часто сочетаются в них с сентиментальной чувствительностью, а нередко

и с неожиданной способностью понять даже весьма высокие чувства, заложенные в литературные и музыкальные произведения их авторами.

Москва, конечно, первым нарушил общее молчание и определил общее заключение, ударив себя кулаком по колену:

– Артист – человек!

Это высшая похвала для неблатного. Старик, делая вид, что обдумывает исполнение Артиста, потирал седую щетину на щеках – она была влажной. Однако открыто выражать свой восторг руководителю хевры было не к лицу, и он ограничился сдержанным признанием:

– А ничего, что Артист из оперы, фартово поет падло!

На всех ярусах нар гудели одобрительные голоса. Кто-то внизу, когда Званцев кончил петь, ему даже зааплодировал. Но не поддержанный никем, скоро понял неуместность в тюрьме такого способа выражения похвалы и перестал хлопать. Однако и без аплодисментов было ясно, что успех Артиста – полный. Теперь на его выразительном лице сияло радостное удовлетворение. Он и здесь оставался артистом. Тем более что вряд ли когда-нибудь одерживал над скепсисом публики более убедительную победу.

– Что, падло? – теперь уже Москва заседал на Покойника, изображая перед ним ослиные уши. – Кому надо зубы начистить?

Над щипачом, с воровскими целями посещавшим оперу, иронизировали:

– Ты ее часом не с цирком спутал?

Москва строил ему рога:

– Ме-е-е...

Званцев с улыбкой наблюдал за проявлениями ребячливости блатных, которая, однако, никак не смягчала свирепых нравов хевры. Но вдруг он перестал улыбаться и начал к чему-то прислушиваться. Затем, с выражением напряженного внимания, прильнул к решетке окна, у которого сидел. Оно находилось как раз на уровне верхних нар. Обернувшись к галдящим блатным, умоляющим голосом произнес:

– Тише, товарищи! Пожалуйста, тише!

Тишина наверху наступила почти сразу, о ней ведь просил Человек – Званцев. Но внизу шум еще продолжался.

– Тише, вы, падлы! – гаркнул Москва, свесившись через край нар. Штымпы удивленно затихли.

Теперь уже все явственно слышали доносившееся через окно пение. В камере второго этажа сильным меццо-сопрано пела женщина. Своим голосом она владела с профессиональной уверенностью и несомненным мастерством. Даже для совершенно неискушенных в музыке людей ее пение чем-то напоминало только что исполненную Артистом оперную арию. И не только своим стилем, но и почти такой же силой чувства.

Сами по себе женские голоса снизу никого здесь удивить не могли. Коридор второго этажа был «женским», а камеры на всех этажах располагались одинаково. Точно одно над другим приходились и их окна. При открытых форточках – а они в переполненных камерах были открыты почти всегда – звуки из смежных по вертикали камер, хотя и довольно слабо, были слышны из окна в окно. Особенно в направлении снизу вверх, наклонно поставленный перед окном железный козырек играл роль отражателя. Женщина внизу пела, по-видимому, перед самым этим отражателем. И в этом не было ничего необычного. Удивительным было другое. То, что певица в женской камере была вокалисткой высокого класса и пела арию из той же «Тоски», очевидно, отвечала Званцеву.

Прижавшись к решетке окна, Артист застыл в напряженном внимании. Было видно, что он боится пропустить хотя бы звук из пения незнакомой арестантки.

– Прямо опера! – хохотнул кто-то.

Званцев обернулся к нему с выражением почти физической боли на лице, а Москва поднес к носу непрошеного комментатора свой увесистый кулак.

Пение внизу оборвалось на высокой, рыдающей ноте. Артист медленно, как человек, только что увидевший удивительный сон и не вполне еще проснувшийся, провел ладонью по лицу.

– Мне ответила Флория... – выговорил он наконец в ответ на вопросительные взгляды.

– Никак твоя баба? – изумились вокруг.

Только теперь Званцев очнулся по-настоящему и вспомнил, что вокруг него люди, не имеющие представления не только о том, кто такая Флория Тоска, но и о смысле музыкальной драмы вообще. Нужно будет разъяснить им это. Но не сейчас. Сейчас Званцев лихорадочно перебирал в уме все знакомые арии и романсы, чтобы ответить своей неожиданной партнерше на том же, музыкальном языке. Опять попросив тишины, он запел в решетку окна:

– «Средь шумного бала, случайно...»

Теперь им владели уже иные чувства, чем при исполнении арии Каварадоси. Но опять они были собственными чувствами певца. И проникновенные строфы старинного романса стали от этого еще более выразительными. Для него они сейчас имели почти реальный и трагический смысл.

Блатные слушали романс внимательно, с пониманием вникая в его слова. Дело сейчас не столько в самой музыке, сколько в удивительной, никем еще не слышанной здесь музыкальной переключке двух заключенных оперных певцов. Это было что-то вроде захватывающей драматической игры. Когда Званцев пропел свой романс, его похвалили не только за хорошее исполнение, но и за удачный выбор музыкального ответа в женскую камеру.

– Здорово это у тебя насчет «тайны» получилось, – одобрительно сказал кто-то.

– Оно, действительно, тайна, что это там за баба? А сколько тебе сроку дрюкнули, Артист?

– Восемь лет, – вздохнул Званцев.

– Ну, и фраерше небось не меньше...

То, что певица внизу – «фраерша», никто тут не сомневался. Уголовники поют совсем не то и совсем другой репертуар.

– Тише! – опять поднял руку Званцев. Снизу начинался новый музыкальный «заход». Так здесь успели окрестить попеременные выступления певцов.

Правда, с неослабевающим вниманием и искренним наслаждением слушал пение женщины один только Артист. Другие с большим или меньшим нетерпением переждали, когда оно кончится. Голос певицы сколько-нибудь различимо звучал лишь у самого окна. А главное, пела

она именно так, как обычно поют оперные певицы по радио, длинно и скучно. Опера все же оставалась оперой, и таких хороших песен, как та, которую исполнял давеча Артист, в ней было, видимо, раз-два и обчелся. Правда, сам Званцев был от пения своей партнерши в каком-то тихом восторге.

– Татьяна из первого акта! – вполголоса объяснял он сидевшим поближе и опять прикинул к решетке. Артист снова забыл, что такие объяснения никому здесь ничего не говорят. Прослушав Татьяну, он начинал петь Онегина из той же оперы. Затем снизу следовало что-то новое, а на него новый музыкальный ответ.

Постепенно кучка любопытных вокруг Званцева передела. Все отошли на свои места и занялись обычными делами или обычным бездельем. Артист тоже освоился с обстановкой, вернее, забыл о ней. Теперь возобновившийся вокруг шум почти не мешал ему ни слушать свою партнершу, ни отвечать ей. Только вряд ли этот обмен ариями и романсами можно было назвать игрой. Это было не развлечением или соревнованием, а взаимным удовлетворением особого рода голода, который у настоящих артистов достигает иногда силы необыкновенной. Было тут, очевидно, и удовлетворение потребности в общении мужчины и женщины, осуществляемой таким странным и необычным образом. Исполняемые музыкальными партнерами арии состояли почти из одних только объяснений в любви – благо в оперном репертуаре этих арий больше, чем всяких иных.

Разговор-концерт Званцева и незнакомой певицы из женской камеры кончился, только когда принесли вечернюю баланду и началась обычная в это время суэта. Перед отбоем соседи Званцева по нарам потребовали, чтобы он выполнил свое обещание рассказать им об опере. Раньше бы, пожалуй, они и слушать о ней не захотели, да вот песня этого самого смертника всем понравилась. Но и теперь почти все тут оставались при убеждении, что опера – это, в общем, нестерпимая тягомотина. Некоторые полагали, что таким способом образованные фраера охмуряют друг друга и самих себя. Одни выпендриваются со сцены и берут за это деньги. Другие делают вид, что это

им нравится, так как посещение оперы – своего рода шик. Некоторые из блатных бывали в драматическом театре и находили, что представление на сцене – это интересно. Музыка – это тоже хорошо, если, конечно, играет не симфонический оркестр. А вот зачем портить драматическую роль исполнением ее по-дурацки, нараспев? «Здравствуйте... Ка-а-к пожи-ва-е-е-те...?»

Сначала Званцев думал, что ему никак не удастся преодолеть предвзятость и глубину невежества своих слушателей. Тем более что он был плохим популяризатором и еще худшим педагогом. Артист не мог приспособиться к уровню своей аудитории и не переносил выпадов в адрес любимого им искусства. Он постоянно обижался за него, умолкал или отвечал раздраженно и сбивчиво.

Оказалось, однако, что положение не так уж безнадежно. И к концу своей лекции Званцеву удалось многих поколебать в их убеждении, что опера – это всего лишь какая-то музыкальная заумь. Будь перед ним аудитория того же образовательного уровня, но состоящая из людей обычного склада и образа мысли, это, безусловно, не удалось бы. Но тут были уголовники, что парадоксальным образом меняло дело.

Среди них людей романтического склада гораздо больше, чем среди тех, кто честным трудом добывает свой хлеб и послушен законам государства и общепринятой морали. И хотя сама по себе романтика уголовщины быстро развеивается в представлении даже самых молодых своих сторонников, их идеалы переносятся в иллюзорный мир «красивой жизни». Для этой жизни характерно презрение ко всему серому и будничному, прежде всего к труду. Ей чужды мелкая расчетливость и робость перед чьим-то запретом. Старая как мир триада: любовь, вино и карты – является эмблемой и девизом блатничества. Конечно, в меру его убогого разумения и еще более убогих возможностей. Но это в целом. Отдельные представители мира отверженных, наиболее вдумчивые и способные, проявляют иногда влечение к настоящей литературе и поэзии. Даже высокоинтеллектуальной, такой как поэзия Гёте, Гейне или Блока, хотя обычно они перекраивают их философское обобщение на свой особый лад. Все сказанное

о духовном мире некоторой части уголовников нисколько, однако, не меняет их практики воров и насильников. Такова уж логика самого их существования.

Увлеченность, с которой Званцев рассказывал об опере как об искусстве передавать со сцены сильные человеческие страсти при помощи музыкальных звуков и ярких красок, заставила призадуматься даже самых скептических из его слушателей. Что ж, может, этот «человек» и в самом деле прав и опера не просто фраерская блажь. Вон какую любовь закрутил с этой певучей фраершей внизу! Блатных почти тронул их музыкальный роман. Хотя этих фраеров разделяет сейчас только межэтажное перекрытие тюремного корпуса, никогда они не увидят друг друга в лицо. Не сегодня, так завтра одного из них угонят на один конец света, а другого куда-нибудь на другой. И до конца своей жизни, никогда более они не встретятся.

Когда беседа закончилась и все улеглись, Званцев услышал, как один из заключенных на верхних нарах вполголоса сказал соседу:

– Каких только фраеров теперь в тюрьмы не понапикивали! На одной только этой пересылке из них можно хоть академию, хоть оперу собрать...

– А может, оно так и пущено, – ответил сосед. – Лагерному начальству где-нибудь на Колыме скучно, вот оно и дало заказ легавым в городах поналовить для него всяких певунов да плясунов...

Первый в этом усомнился. Он обладал, вероятно, большим лагерным опытом:

– Не... С контриковскими статьями в КВЧ не берут...

Артист долго лежал с открытыми глазами. Легко возбудимый человек, он был переполнен впечатлениями прошедшего дня. И самым сильным из них была эта музыкальная встреча с этапницей из женской камеры внизу, такой близкой по расстоянию и, одновременно, такой далекой. Там, под полом, точно такая же камера и такие же нары, на которых так же тесно, как здесь мужчины, лежат женщины. И среди них эта певица. Возможно, что и она сейчас не спит и думает о нем, своем партнере по неожиданному дуэту. Старается, наверное, представить себе его внешность, возраст, бывшее общественное положение.

Тут, впрочем, ей многое может подсказать его профессия певца. Вряд ли он дал ей основания усомниться в своем профессионализме.

А кто она? Званцев поймал себя на том, что, увлеченный самым удивительным в своей жизни дуэтом, он в течение всего этого времени, да и потом, ни разу об этом не подумал. Правда, репертуар певицы, качество и манера исполнения, насколько о них можно судить в этих условиях, почти не оставляли сомнения, что она либо оперная артистка, либо бывшая кандидатка на это звание. А может быть, она уже известная исполнительница? Не исключено даже, что они знакомы – мир оперного искусства не так уж широк! Артист даже приподнялся на нарах, настолько его поразила эта простая мысль. И как это она ни разу до сих пор не пришла ему в голову? Ведь мог же он представиться своей партнерше через окно и попросить ответить ему тем же! В конце концов – это закон элементарной вежливости. Ничего, однако, еще не потеряно. Это он может сделать и завтра.

Насколько до сих пор Званцев как бы абстрагировался от представления о внешнем облике своей партнерши, настолько упорно теперь он пытался его вообразить. Но ему никак не удавалось отделаться от привычных ассоциаций. Певица представлялась ему в образе тех оперных героинь, арии которых она исполняла сегодня. Все они были прекрасны и внешне эффектно, но, конечно, совершенно не верны. И, в сущности, почти оскорбительны для обездоленной арестантки в камере пересыльной тюрьмы.

Раза два мельком Артисту приходилось видеть заключенных женщин в коридорах и во дворе с-ской тюрьмы. Это случалось, когда надзиратели допускали путаницу или недосмотр при выводе арестантов на прогулку или при переводе их из камеры в камеру.

У большинства женщин были ввалившиеся глаза на серо-бледных, у иных даже с землистым оттенком, лицах. И что-то общее было в выражении этих лиц, на свободе, вероятно, самых разных. Почти одинаковыми в своем безобразии были и фигуры арестанток в грязной, изжеванной одежде. Волосы у многих были острижены под машинку, у других неопрятными космами выбивались из небрежно повязанных платков и косынок.

Вряд ли могут выглядеть лучше и этапницы внизу, которых, как и всех здесь, гонят куда-то для использования в качестве рабочего скота. И теперь не имеет уже значения ни образованность отдельных особей, ни их артистичность, ни, тем более, способность чувствовать и понимать. И как все заключенные, женщины здесь тоже во всем почти «бывшие». Они бывшие граждане, бывшие специалисты, бывшие жены и даже бывшие матери. Званцев чуть не застонал от пронзившего его острого сострадания к арестанткам. Ведь им в заключении приходится еще горше, чем мужчинам. Уже по одному тому, что оно обрекает их на неизбежное внешнее уродство. И как непереносимо, вероятно, сознание этого уродства для представительниц артистического мира. Ведь для них внешняя обаятельность – неперемное условие не только их профессии, но и самой жизни!

Артисту стало почти стыдно, что он представил себе заключенную певицу в образе пушкинской барышни, Жанны д'Арк или оперной валькирии. Ведь образ реальной мученицы выше всех этих образов. Выше и глубже. Беззаконное насилие, совершаемое над невинными людьми, не может не унизить. И если оно не может сломить в них человеческого достоинства, способности чувствовать и мыслить, любить свое искусство, как, несомненно, любит его эта бедная арестантка со второго этажа, то такие достойны звания настоящих героев, а также любви и уважения. Именно таково, вероятно, происхождение любви верующих христиан к мученикам своей религии.

Тут религиозное обожание было, конечно, ни при чем. Но Званцев почувствовал к заключенной певице нечто большее, чем простое сострадание. В нем вспыхнул глубокий и острый интерес к ней не только как к человеку, но и как к женщине. Человеческие чувства обладают способностью взаимопроникновения и часто бывают неотделимы друг от друга.

Так кто же она, эта женщина, которая тронула его, оказывается, гораздо глубже, чем это можно было представить? У нее молодой и сильный, несмотря на все зловерные влияния тюрьмы, голос. Артист поймал себя на том, что очень хочет, чтобы молодой и красивой была и его

обладательница. Но зачем ему это? Вероятность встречи со своей партнершей, даже в отдаленном будущем, у него не больше, чем вероятность столкновения двух комет.

А сколько времени продлится эта нынешняя возможность музыкальных встреч с ней через закрытое железом окно? Неделю или только один-два дня? Артист чувствовал, что боится потери такой возможности как потери чего-то очень для него дорогого. Гораздо большего, чем просто утрата партнера по занятиям пением. Неужели он влюблен? В кого, собственно? Ведь это нелепо, почти смешно!

Было далеко за полночь, когда Званцев наконец уснул. Последнее, что он слышал, кроме сопения и храпа соседей, был окрик часового на вышке тюремной ограды. Вскоре этот окрик повторился. «Кто идет?» – доносилось сквозь оконце тюрмы. Но это был теперь голос не воровца из будки часового, а солдата в парике и треуголке с высокой крепостной стены. И камера Званцева была уже не многолюдной камерой обыкновенной пересылки, а одиночным казематом старинной крепости. Осужденный на смерть узник думал перед казнью о своей возлюбленной. В отличие от Флории, она тоже была заключенной и находилась где-то здесь, совсем рядом. Узник слышал ее голос, даже отвечал на него, но знал, что никогда ее не увидит. Он метался на своем жестком ложе. Пальто, которое подостлал под себя Званцев, сбилось в ком у самого края нар.

– Кто идет? – кричал часовой на вышке за окном.

Спокойно и глубоко Артист заснул только на рассвете. Но вскоре длинно и назойливо задребезжал звонок будки. Наступало худшее время тюремного дня – раннее утро.

Званцев с нетерпением ждал, когда кончатся процедуры раздачи хлебных паек, мыывания и утренней поверки. И как только суетливый, но энергичный Москва «организовал» относительную тишину в камере, запел в решетку окна: «Я вас люблю, люблю безмерно...» Эта ария – объяснение в любви в необычайной степени соответствовало тому чувству, которое так неожиданно овладело им в прошедшую ночь. Снизу на нее ответили горестной арией Джульетты. Беседа продолжалась... «О дайте, дайте мне свободу». Ответом Игорю был плач Ярославны.

– Как ваше имя? – крикнул Званцев в ржавое железо козырька и прильнул к решетке, напряженно прислушиваясь.

Но на этот раз ответа снизу не последовало. Тогда он повторил свой вопрос, и снова ответом было озадаченное молчание. Артист растерянно оглянулся. Опытные арестанты глядели на него с сочувственной иронией. Званцеву объяснили, что разговора из камеры в камеру через закрытые козырьками окна не получается. Нельзя разобрать слов. Особенно, когда говорят сверху вниз. Артист только теперь с огорчением понял, что ложное представление о разборчивости переклички через окно сложилось у него потому, что эта перекличка состояла из знакомых на память музыкальных либретто.

– А ты ее спроси на свой, оперный манер! – посоветовал кто-то.

Совет показался Званцеву толковым.

– Кто вы-ы...? – пропел он в окно на мотив арии мосье Трике.

Теперь внизу, кажется, поняли.

– Лю... а... на... – донеслось через решетку.

Вероятно, были названы имя и фамилия, но разобрать слов было нельзя. Тогда, больше чтобы подать совет, Званцев с оперными интонациями пропел в окно свою фамилию. Совет, по-видимому, поняли, так как «Лю-ю-ю... на-а-а...» было произнесено теперь тоже нараспев. Но было уже очевидно, что никакой распев незнакомых слов помочь тут не может. С выражением отчаяния на лице Артист сжал виски руками.

– Не тусуйся! – хлопнул его по спине Москва.

Он относился к Званцеву несколько покровительственно. Талантливый артист все равно оставался беспомощным фраером.

– Сейчас мы твоей бабе ксиву пультнем!

Потребовав у Артиста один из его носков, Москва быстро отмотал от него длинную нитку. Затем выпросил у кого-то коротенький огрызок карандаша. Догадавшись, для чего делаются эти приготовления, Званцев достал полученное перед самым отправлением на этап письмо из дому. На его оборотной стороне оставалось еще немного чистого поля для записки. Белую бумагу, однако, забра-

ковали. Предпочтительнее оборотная сторона махорочной обертки. Коричневая бумажка не так заметна на фоне неотштукатуренной, кирпичной стены.

Укрывшись за спиной Москвы, чтобы запретное в тюрьме писание не было замечено через глазок в двери камеры, Артист выводил на рыхлой бумажке округлые, какие-то детские каракули. Так получалось потому, что тупой карандашный огрызок приходилось держать самыми кончиками пальцев. Он был слишком коротким, чтобы взять его поудобнее. Содержание ксивы было предельно кратким: «Званцев Сурен. С-ская опера. 58–6, 8 л.»

Без сообщения друг другу статьи и срока тюремные знакомства – то же самое, что знакомства на воле без представления об общественном положении знакомящихся.

– Ты и взаправду шпион? – удивился Москва. – Или тебе это только пришили?

– Пришили... – вздохнул Артист, – я за границей был, пению в Италии учился...

Лаконичность письма объяснялась еще и необходимостью оставить на записке место для ответа. В женской камере могло не оказаться ни бумаги, ни карандаша. Особенно, если в ней одни только фраерши. Поэтому, обернув его письмом, вниз отправили на нитке и карандашный огрызок. Хорошо еще, что намордник перед окном не был зашит снизу досками, как обычно. Это тоже было одно из проявлений режимной «слабины» на пересылке. Строгость «срочных» тюрем по части пресечения общения между арестантами подменялась здесь текучестью населения пересыльной тюрьмы. О чем могли договориться между собой этапники, которых через день, а может быть и через час, развезут по разным эшелонам, а затем и лагерям? Но это не значило, конечно, что, если часовой с вышки заметит ползущую по стене ксиву, он не сообщит о совершенном нарушении по телефону дежурному по тюрьме. И тот примет меры, чтобы перехватить ксиву и отобрать один из наиболее строго запрещенных в тюрьме предметов – карандаш.

Званцев с замиранием сердца следил за манипуляциями тюремного почтмейстера. А тот постучал самодельной ложкой по железному козырьку и крикнул вниз:

– Кси-ва...

Оттуда донесся такой же стук и чей-то голос:

– ... яй... – очевидно: «Пуляй!»

– Порядок! – удовлетворенно сказал Москва, – внизу и марухи есть... – и начал медленно опускать письмо. Так менее вероятно, что оно попадет на глаза попугаю на вышке.

Наконец, нитка ослабела, почту внизу приняли. Потянулись томительные минуты. Потом там постучали о железо, что означало: «Тяни!» Москва начал осторожно выбирать нитку, а Артист кусал губы от беспокойства и нетерпения. Но все обошлось благополучно. Дрожащими пальцами он разворачивал мятую, пухлую бумажку. На ней рядом с его каракулями было выведено таким же невыразительным почерком – карандаш был тот же: «Людмила Костромина. Студия Леноперы. ЧСВН. 7 л.»

Писулька несколько приоткрыла завесу таинственности над партнершей Званцева. Он почувствовал радостное удовлетворение от того, что она студийка. Значит, его желание, чтобы она была молодой женщиной, сбылось. А вот ЧСВН означало, что эта женщина стала жертвой варварского закона о родственниках «врагов народа». Но кто же этот «враг», из-за которого оперная сцена лишилась, может быть, одной из своих будущих звезд? Всего вероятнее, что это муж Костроминой. Такое предположение чем-то корбило, поднимало откуда-то со дна подсознания муть, зоологического по своей сути, эгоизма. Нелепый и низменный вообще, в этой обстановке он был нелеп вдвойне. Да и «враг», за родство с которым талантливая певица была брошена в тюрьму, мог оказаться ее отцом или братом. Званцев почувствовал внутренний стыд и, чтобы заглушить его, запел арию Дон-Жуана из одноименной оперы.

Странный роман увлек Артиста настолько, что он почти не отходил от окна ни в этот день, ни в последующие. Во всяком другом месте над ним бы, наверно, посмеялись. Но здесь слишком хорошо понимали, что такое неудовлетворенная тяга к женщине, и ценили любые способы преодоления тюремных запретов и ограничений. Этот чудачковатый фраер нашел свой способ. Что ж, это было его дело. На прилипшего к решетке Званцева почти не обращали

внимания. Да и он, как распевшийся соловей, почти ничего не слышал и не видел вокруг. И различал теперь голос своей дамы даже сквозь самый громкий галдеж. Когда Артист не дежурил возле своего окна, он был рассеян и задумчив, как влюбленный юнец. Иногда его просили спеть для публики. И Званцев пел арии князя Игоря и герцога Альмавивы, Германа и Ленского, романсы Чайковского и Даргомыжского. Предвзятость его слушателей к классической музыке была уже несколько меньшей. Спел он однажды и арию Каварадоси. Но на этот раз она звучала далеко не так впечатляюще, как при первом ее исполнении здесь. Совсем иным было теперь главное чувство певца.

Удивительный дуэт между певцами в нижней и верхней камерах продолжался. Его партнеры были друг для друга то Ромео и Джульеттой, то Дон Жуаном и Донной Анной, то Радомесом и Аидой. Эти образы были в какой-то мере условны, ограничены рамками сценических требований и возможностей, а потому и легче поддавались воображению. А вот попытки представить себе реальный образ Костроминой наталкивались на невообразимо большое число вариаций женских лиц, фигур, походок, манер держаться. Словом, всего того, что определяет внешнюю индивидуальность. Партнерша Званцева представлялась ему то высокой и сильной молодой женщиной, то маленькой и хрупкой девушкой; то светлой, то темноглазой и черноволосой; то порывистой, то задумчиво-медлительной. В конце концов он каким-то недоступным рационалистическому пониманию образом синтезировал все эти представления в одном, их обобщающем. Это было нечто, отвлеченное от реальности и, в то же время, ее представляющее. Таким же смешением абстрактного и реального была и любовь Артиста к женщине, представленной для него только звуками ее голоса. Но от этого, да еще от горького чувства неволи, его любовь становилась еще сильнее и чище.

Засыпал Артист, как и положено влюбленному, позже своих соседей. В тиши ночной камеры он как бы повторно прослушивал все, что было спето ему Людмилой за прошедший день. Он снова и снова вникал в слова арий, романсов и каватин, в которых, прямо или косвенно, говорилось об ее любви к нему. Каким именем она его при этом

называет, теперь уже не имело значения. Музыкальные диалоги нередко продолжались и в сновидениях. Правда, в них они чаще всего обрывались болезненно и резко из-за чьего-то грубого и насильственного вмешательства. Тогда Артист просыпался с чувством ноющей тоски, которая долго потом не проходила. Сны-то были, несомненно, вещими. В них отражалось сознание полнейшей неизбежности того, что страстный дуэт двух незнакомых влюбленных будет вот-вот оборван.

Шла уже четвертая ночь пребывания Званцева в камере этой пересылки. Как и в предыдущие ночи, он обдумывал сейчас, с чего начать ему завтра свой каждодневный разговор с Людмилой. Это она сделала как бы его привилегией, никогда не начиная петь первой. Возможно, Костромина выражала таким образом признание его таланта и старшинства как исполнителя, а может быть, просто хотела, чтобы своим вступлением он давал как бы ключ к выбору ею ответа. Истинно женская психика не только мирится с приоритетом мужчины в вопросах всякой инициативы, но и стремится утвердить этот приоритет даже там, где его фактически нет.

Выбор вступительной вокальной пьесы с каждым днем становился все труднее. Ко всему прочему, она должна быть своего рода музыкальным «с добрым утром» и в то же время не быть повторной. А за эти дни даже богатый репертуар Званцева был в немалой степени исчерпан. Сказывалась и мозговая усталость, вызванная нехваткой сна. Днем Званцев не спал, как почти все здесь, а ночью засыпал только за полночь. Мысли устало путались, и он не мог придумать ничего путного. Придется отложить выбор пьесы на утро. Времени для этого после подъема вполне достаточно.

Засыпая, Артист улыбался. Наплывало одно из привычных в последние ночи видений. На месте отбитой штукатурки в углу появилась декорация зимнего леса, а сквозь чье-то сонное бормотание звучал голос Снегурочки – она же, конечно, Людмила. Но тут к этим звукам прибавились какие-то другие, от которых Званцев открыл глаза, приподнялся на локте и начал встревоженно к чему-то прислушиваться.

Звуки доносились все из того же окна над его изголовьем. В женской камере внизу звучали необычные для такого позднего времени голоса. Притом не одни только женские. Они чередовались с мужским, отрывисто произносившим, по-видимому, только одно слово. На это слово женщины, судя по их голосам, разные, отвечали довольно длинной тирадой. После этого следовала небольшая пауза, и голоса, в той же последовательности, повторялись.

– Баб в нижней камере на этап вызывают, – сказал сосед Званцева, он тоже не спал.

Но Артист и сам давно уже понял это. Если и до сих пор к владевшему им радостному чувству почти постоянно примешивалась тревога, то теперь эта тревога и токсичное предчувствие недоброго вытеснили в нем все остальное. По-видимому, происходило то, что неминуемо должно было произойти. Однако человек наделен спасительной способностью отодвигать в своем представлении все самое для себя трагическое в неопределенное и неясное будущее. И наступая, это будущее почти всегда застаёт его врасплох, поражая своей четкой и неумолимой жестокостью.

Привычно прильнув к решетке и весь превратившись в слух, Званцев старался разобрать произносимые внизу фамилии. Но даже если их выкрикивали совсем близко от окна женской камеры, все равно понять можно было разве только окончания фамилий: «... на...», «... ская...», «... ко...». Полностью улавливались, как всегда, только привычные словосочетания, вроде «статья пятьдесят восемь», или «пункт десять, часть первая». Всякий раз, когда ему слышалось слово «Костромина», Званцев вздрагивал и до боли в пальцах сжимал прутья решетки.

Когда голоса в женской камере затихли, он, съезжившись, с каким-то посеревшим лицом, все еще висел на своей решетке.

– Убиваешься, Артист, – сочувственно сказал ему сосед. – Брось! Такая уж у нас, прокаженных, жизнь... А может, еще твою бабу сегодня и не вызвали...

Голоса за окном зазвучали снова и уже гораздо отчетливее. В тюремном дворе началась переключка многочисленного этапа, притом исключительно женского.

Но снова почти ни одной фамилии разобрать как следует не удалось. Плац для разводов находился от корпуса, где сидел Званцев, довольно далеко. Тем не менее по звукам с этого плаца можно было сделать весьма важное заключение о составе этапа. Все его женщины отзывались либо «пятьдесят восьмой», либо приравненными к ней «литерными» статьями.

– Видно всех контричек с пересылки замели, – сказал кто-то.

Теперь на верхних нарах не спал уже никто.

Потом было слышно, как женщин построили в ряды по пять человек и как эти пятерки считали, – их оказалось более шестидесяти. Затем раздалась команда:

– Шагом марш!

Шарканье многочисленных ног, и все стихло.

Званцев в прежней позе сидел у окна. Он почти уже не сомневался, что самый удивительный в его жизни роман окончен и никогда более не возобновится. И что незнакомая ему, в сущности, женщина, ставшая, тем не менее, за эти дни самым дорогим для него человеком на свете, шагает сейчас в толпе таких же отверженных, как и сама, «прокаженных», как говорят блатные, навстречу своей горестной судьбе. И, наверно, глотает пополам со слезами пыль дороги к железнодорожному тупику, где этапники ожидает эшелон арестантских «краснушек».

Надежда, однако, удивительно цепкое и настойчивое чувство. Тем более настойчивое, чем меньше она имеет для себя оснований. Вот и сейчас Званцева не оставляло это знакомое всем чувство, кто когда-нибудь стоял перед мрачной неизвестностью, робкое «А может быть?» Поэтому до ощущения почти физической боли ему хотелось пропеть в окно рядом какую-нибудь музыкальную фразу. Тогда Людмила, если только она еще здесь, обязательно ответит. А если нет? Но в таких случаях всегда кажется, что определенность, даже самая плохая, все же лучше, чем терзания неизвестностью.

Петь, однако, нельзя. Люди в камере опять уснули. Да и подобного нарушения тюремного режима в ночное время не стерпит даже либеральная пересылка. Обоих певцов сейчас же выволокут из камер в карцеры, и их общение, даже

если оно еще возможно, прекратится раньше времени. Нет, надо ждать своего обычного часа после утренней поверки.

И Званцев ждал, сидя без сна у решетки до самого подъема. Когда принесли утренний хлеб, он не повернул головы и не протянул руки. Пайку Артисту принял заботливый Москва. А когда тот же Москва раньше обычного времени успокоил штымпов внизу, Званцев запел в решетку арию Ленского перед его дуэлью с Онегиным. Никакой аффектации в этом не было. Он ведь был профессиональным артистом, а драматическое вступление в эту арию как нельзя точнее выражало его настроение. Вот уже несколько часов оно терпеливо ждало своего воплощения в звуки. Но когда такая возможность наступила, это удалось Званцеву не сразу. От волнения он долго откашливался и массировал горло, прежде чем смог пропеть «Что день грядущий мне готовит...» На этой фразе Артист остановился, и видно было, как побелели его пальцы, сжимавшие решетку. Но окно молчало. Тогда он попытался продолжить арию, но уже на словах: «Его мой взор напрасно ловит...» – уткнулся лбом в железные прутья и зарыдал. Плакал, однако, Артист недолго. Вытерев ладонями рук мокрое лицо, он отвернулся от окна и, низко опустив голову, сел спиной к решетке.

Он как будто сразу постарел. Это впечатление, впрочем, еще усиливала уже недельная щетина. Обед Званцева принял и съел Москва. Один раз он дернул его за рукав и спросил:

– Может, ксиву пульнуть? А, Артист?

Тот медленно покрутил головой из стороны в сторону:

– Не надо!

Во второй половине дня загремел засов двери, и на ее пороге показался дежурный по тюрьме с бумажкой в руке. Сразу же наступила настороженная тишина – этап! Началась, видимо, очередная разгрузка пересылки.

– Отзывайтесь пока на свои фамилии, без установочных данных! – сказал дежурный.

Это значило, что сейчас будут названы те, кто уже сегодня будет продолжать свой этап в дальние лагеря. Иногда такое предупреждение делалось за пару часов до отправки, иногда – всего за несколько минут. Уже

по первым фамилиям, прочитанным по принесенному списку, стало ясно, что на этот этап уходит та группа заключенных, с которой сюда прибыл Званцев. Некоторые из них, по привычке, услышав свою фамилию, начинали бормотать длинный ряд своих «позывных». Таких дежурняк обрывал вызовом очередного по списку. Был среди них и Званцев.

– Есть! – ответил за него Москва.

– Всем, кого назвал, собраться с вещами! – сказал дежурный и вышел. Надзиратель закрыл дверь на засов.

В камере началась обычная возня со сборами и поисками своих вещей.

– Собирайся, Артист! – сказал Званцеву Москва.

Он подал ему его «клифт», помог намотать на шею кашне, вложил в узел Артиста сегодняшние пайки. Тот принимал все это с каким-то каменным безразличием. И спустившись вниз, понуро стал в проходе, прислонившись к столбу.

– Слышь, Артист, – обратился к нему Старик, – спой что-нибудь на прощанье!

Сначала Званцев как будто и не слышал этой просьбы. Но потом поднял голову и запел арию Каварадоси.

И снова, как при первом исполнении этой арии здесь, тоска реально существующего, но лишнего свободы человека изливалась в тоске вымышленного узника. И снова, трогая даже самые грубые сердца, рыдал голос Артиста, с той же силой, как и в первый раз, передавая эту тоску. И, как тогда, певец вкладывал в свое исполнение не только всю силу своего таланта, но и всю свою душу.

Тихонько, без обычного лязга открылась дверь камеры, и в ней появились давешние коридорный надзиратель и дежурный по тюрьме. Но тюремщики не стали пресекать нарушение заключенным тюремного режима. Они его слушали. Впрочем, люди это были уже немолодые, а возраст, как известно, умеряет все виды пыла, в том числе и служебного.

Артист кончил петь, машинально провел пятерней по остриженной наголо голове и надел свою измятую шляпу, которую до этого держал в руке.

– Спасибо, Человек! – прочувствованно сказал ему Старик.

– Спасибо, товарищ Артист! – загудели голоса внизу.

Дежурный по тюрьме с минуту молчал, перебирая свои бумажки. Потом крякнул:

– Да-а...

И, откашлявшись, начал вызывать назначенных на этап. Но теперь он уже требовал, чтобы те называли все свои установочные данные, и внимательно следил за точным соответствием отзывов и записей в списке. Когда очередь дошла до Званцева, тот ответил только тогда, когда дежурный окликнул его вторично:

– Сурен Михайлович... – и снова как будто забылся.

– Статья и срок! – напомнил ему дежурный с необычной в таких случаях мягкостью.

Услышав, что пункт пятьдесят восьмой статьи у певуна шпионский, впрочем, это было видно и из списка, тюремщик сочувственно поднял на него глаза. Скверный пункт! С ним где-нибудь на Колыме этому городскому интеллигенту придется ой как плохо... И ни к чему, наверное, там будет его талант... Но сколько туда гонят теперь таких! И дежурный сделал привычный жест рукой: «Выходи!»

Содержание

- 3 Елена Якович
**Демидов и Шаламов. Житие Георгия
на фоне Варлама**
- 7 От редактора-составителя
- 9 Варлам Шаламов
Житие инженера Кипреева
- 25 Переписка Г. Г. Демидова и В. Т. Шаламова
1965–1967
- 41 Эльвира Горюхина
Что с нами действительно случилось?
- 50 Эльвира Горюхина
ГУЛАГенная мутация
(О чем Варлам Шаламов спорил
со своим другом и однолагерником)
- 55 Георгий Демидов
Оборванный дуэт

Документально-художественное издание

**Демидов и Шаламов.
Житие Георгия
на фоне Варлама**

**Материалы к одноименной
конференции**

Редактор-составитель: С.С. Виленский

Корректор: А.А. Конькова

Оформление: А.Р. Сайфулина

Издательство «Возвращение».
123060, Москва, ул. Маршала Бирюзова,
34, кв. 58. Тел./факс: 8 (499) 196-02-26.
vozvrashenie@bk.ru

Подписано к печати 11.02.2016.

Формат 60x90/16.

Тираж 1000 экз. Заказ 7604.

Отпечатано способом ролевой струйной печати

в АО «Первая Образцовая типография»

Филиал «Чеховский Печатный Двор»

142300, Московская область, г. Чехов, ул. Полиграфистов, д. 1

Сайт: www.chpd.ru, E-mail: sales@chpd.ru, тел. 8(499)270-73-59

ISBN 978-5-7157-0310-1



9 785715 703101 >